

- ❖ Александр Вин. «Парижанка» и другие рассказы
- ❖ Александр Акимов. Осенний альбом. Стихи
- ❖ Степан Левин. О научно-патриотических мифах
- ❖ Светлана Шенбрунн. О, Марианна / Отрывок из романа-путешествия/
- ❖ Ольга Мельникова, Алексей Мельников. Тярпи, Зося, як пришлось!

24 - 25

СТУДИЯ

Berlin ✱ Москва

STUDIO



НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH-DEUTSCHE LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ STUDIO

24 - 25

Berlin ✱ Москва
2017

Главный редактор:
Александр Лайко
Alexander Laiko

Редакция:
Вадим Фадин, Марина Науйокс, Иосиф Малкиель,
Илзе Чёртнер

Vadim Fadin, Marina Naujoks, Josif Malkiel,
Ilse Tschjortner

Оформление:
Маргарита Рёш
Margarite Rösch

STUDIO – ZEITSCHRIFT
ISBN: 3-938902-30-21

Адрес журнала «Студия / Studio»: studiozeitschrift@yahoo.de

Расположение журнала в интернете:
до 2014 г. в архиве Журнального зала,
с 2014 г. на сайте «Вторая литература, журнал Студия»
или <http://www.vtoraya-literatura.com/>

Прием прозы и поэзии от авторов:
studio.berlin@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА – PROSA

Александр Вин. «Парижанка», «Жена странного человека», «Гавань Череминго», «Авиатор и стрекоза». Рассказы	4
Марина Авербух. «Загорянка», «Глядя в глаза». Мемуарные зарисовки	49
Игорь Альмечитов. «Лабиринт», «Зимы... Вокзалы», «Без определённого места жительства», «Двадцать пятая весна». Рассказы	68
Марк Зайчик. «Советская школа бокса». Рассказ	98
Александр Юдин. «Лёгкий способ». Рассказ	113

ПОЭЗИЯ – LYRIK

Александр Акимов. «Осенний альбом».	43
Андрей Дмитриев, стихи	61
Семён Гринберг. «Как это было, так и рассказал»	91
Ульяна Шереметьева, стихи	163

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ – NEUE ÜBERSETZUNGEN

Василь Махно. Перевод с украинского Аркадия Штытеля	
Предисловие Максима Амелина	166

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ – GESTERN UND HEUTE:

Ольга Мельникова, Алексей Мельников. «Тярпи, Зося, як пришлося!», мемуары	118
--	-----

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ – SCHRIFTSTELLER UND SEINE ZEIT:

Светлана Шенбрунн. «О, Марианна» (Отрывок из романа-путешествия)	170
Вадим Фадин. Владимир Маканин, наш вечный современник (Памяти писателя)	196

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ – KREUZWEGE DER GESCHICHTE:

Степан Левин. О научно-патриотических мифах	138
Коротко об авторах – KURZ ÜBER DIE AUTOREN	198

Александр Вин

ПАРИЖАНКА

О тех, кто светел

По крутым склонам старых острых крыш на город медленно опускалась большая снежная туча. Набережная реки, и до того малолюдная, понемногу окончательно пустела, туристы теряли свежий утренний интерес к событиям прошлых веков и торопливо уходили с улиц, избегая возможно неприятного ненастья.

Мокрая серая брусчатка блестела следами последних дождей, в тесных пространствах между древними камнями тёмно зеленел шершавый мох.

Он неторопливо достал из кармана пальто рабочий нож, открыл тяжёлое лезвие.

– Ну что, сестрёнка, пожалуй, нужно соглашаться...

Не наклоняя широкого зонтика, Одда с любопытством слушала хриплый голос и смотрела на сильные движения хмурого, давно не брившегося человека.

– Только если ты уверен, что сможешь это сделать.

Он опустил перед ней на колено, смятую кепку бросил рядом на простор мелкой лужи.

– Встань пока ногой сюда.

Лезвием аккуратно, в несколько движений, он вычистил землю из брусчатого промежутка, потом, нажимая и покачивая, как рычагом, прочным ножом, со скрипом раздвинул рёбра двух гранитных камней.

– Держи, сестрёнка.

Отряхиваясь, мужчина смеялся глазами.

Без просьбы, на время, освобождая её руки, взял зонт, подставил для опоры плечо.

По-прежнему спокойно Одда провела носовым платком по высокому каблуку своей так удачно освобождённой из каменной ловушки дорогой туфли, надела её, улыбнулась.

– Спасибо.

Нож, обтёртый лезвием о рукав старого пальто, защёлкнулся.

– Это же ведь не для себя, правда? Такие каблуки неудобны... Значит – это ложь.

И, не ожидая ответа, ссутулившись мокрой широкой спиной, мужчина медленно зашагал дальше по набережной.

Даже и после середины этот день был удивительно светел.

Неожиданно изобильный, по-осеннему короткий снегопад отодвинул ближе к вечеру уже привычные ранние сумерки.

На главной городской улице волглый снег завалил высокие ступеньки маленьких модных магазинчиков, и у дверей почти каждого из них юные продавщицы вынужденно убрали совками и щётками с пешеходных тропинок безобразные снежные комья. Сила обстоятельств и дисциплина выгодных рабочих мест выгнали их, таких красивых и стройных, в тоненьких одеждах, с тщательными причёсками, в курточках, в дорогих шубках, ковыряясь в кучках неприятных сугробов, низко наклоняя головы, скрывая от прохожих свои приготовленные не для такого кукольные личики и стыд трудной работы.

Он шёл по улицам, невнимательно раздвигая ненадёжный снег тяжёлыми башмаками, и всё ещё продолжал улыбаться.

В конце прошлой недели пришлось привычно заняться заменой входного замка в своей квартире. Сосед, медленно прожёвывая что-то из позднего завтрака, спросил:

– Чего ж ты так? Ключи часто теряешь?

– Нет, я часто их отдаю...

Не решаясь на окончательный поступок, он после развода два или три месяца жёл на берегу свои рукописи и архивы, каждую субботу выбираясь из дома за город, на их заветное место, и час или немного дольше поддерживал когда-то важными бумагами огонь небольшого костра...

Он замечал, как быстро становится бедным.

Поначалу, чтобы не подводить людей, которые никак не желали понимать его поступков и мотивов, но, тем не менее, по старой памяти, давали ему иногда заработать, нужно было при встречах «выглядеть»...

Примерно через год в активе его гардероба остался последний прежний костюм и хорошие, но давно уже неисправные наручные часы. Перед каждой встречей с заказчиками проектов он ставил бесполезные стрелки примерно на то время, в которое ему предполагалось с людьми разгова-

ривать и, беззаботно улыбаясь, точно в назначенные минуты ненароком демонстрировал господам свои дорогие часы.

Возвращаясь, он шёл долго.

На скромной окраинной улице незаметные люди собирали большими лопатами мусор и снег в кузов большой машины, медленно, с редкими остановками катившейся вдоль обочины. В освещённой кабине пожилой водитель увлечённо читал книгу.

«Какую?»

Привязанная к чугунной решётке ботанического сада скучала в вечернем холоде серая лошадь. Пьяный и давно уже насквозь мокрый от снежного дождя молодой офицер хлопал её по морде и уверял, что он сегодня в полном порядке. Красивая военная фуражка валялась рядом, на мёртвой жёлтой траве.

«Всё ли в порядке?»

Обдав брызгами, тяжело прогрохотал по вечерней улице на выезд из города грузовик, наполненный тонкими длинными досками, гибко свисавшими через его открытый задний борт. На конце сосновых досок дисциплинированно существовала прикреплённая тряпка – красные женские трусики, распяленные на жалобно тонкой и незначительной проволочной вешалке.

«Опасность?»

В чистом снегу под памятником философу с мировым именем гнусно и беспорядочно блестели пустые пивные бутылки.

«Уроды...»

Как часто и случалось в этих краях, утро следующего дня с рассвета уверенно наполнилось неожиданным солнцем.

Ровный асфальт дальних и новых городских набережных, еще свежий, серый в низких стремительных лучах, блестел перламутром.

Он шёл, в ожидании привычных действий радостно размахивая длинными руками, приветливо здороваясь с незнакомыми вежливыми людьми, с тщанием порученной работы рассматривая другой берег реки, мощные причальные кольца и тумбы, узкий желтый кирпич облицовки откосов.

Под тюльпановым деревом возле музея он остановился, удобней устроив в ладони растрёпанный блокнот, сделал подробные рабочие записи.

Задумался о другом.

«Сильная и беспомощная...»

С лёгкостью позабыв на минуту о предстоящих дневных заботах, он

вдруг вспомнил стройную женщину, растерянно застывшую на его привычном пути, на пустынной старинной набережной, вчера, за несколько мгновений до снегопада.

Блестящая красная туфля, хищное острие тонкого каблука, случайно и прочно застрявшего между камнями брусчатки, её улыбка...

«Упрямая... И чего было ждать? Молча...»

Река сияла наступившим холодом и всё ещё сильным, горячим на безветрии, осенним солнцем.

Уже встречались на пешеходных тропинках первые, рано проснувшиеся туристы, обычные пожилые пары и отдельные медленные старики. На бетонных берегах одинаково удобно устраивались со своими незначительными снастями местные рыболовы, забавные персонажи с давно спрятанным ожиданием в глазах.

Один из них заметил его, взмахнул рукой, предложил выпить кофе из большого термоса, завёл длинный разговор о политике и налогах.

Звонко засмеялся где-то далеко ребёнок, смех разнёсся над пустой и ровной пока ещё рекой.

Приезжие люди фотографировали друг друга, небо над острыми шпилями собора и всё то, что им казалось в этом приморском городе красивым, а для него было всего лишь работой.

– Эй!

В спортивной куртке, в джинсах, маленькая, с дорогим фотоаппаратом.

– Не узнал?

В кроссовках – совсем другая.

– Привет, спаситель! Меня звать Одда.

Уютная, весёлые глаза.

– Чего молчишь?

Он вздохнул, помял блокнот в больших руках, переступил башмаками по краю лужи, разделявшей их.

– Удивительно встретить женщину, которая умела бы так правильно слушать...

– Про что это ты?

– Про твои кроссовки.

– А-а... Да, согласна.

Он сделал шаг в одну сторону, следующий – в другую, но Одда каждый раз упрямо оказывалась на его пути.

– Почему-то мне кажется, что ты много знаешь про эту реку. Правда?

– Больше всех.

– Расскажешь, время найдётся?

Одда смеялась над неожиданно хмурым человеком и была уверена, что имеет на это полное право.

Он шёл рядом с ней и думал о счастье.

Сама не зная ещё, почему, Одда хотела спросить его о многом.

– А почему ты сейчас не на службе? Не желаешь в такую погоду заниматься ничем обязательным, просто гуляешь?

– Половину своей работы я уже сделал. Потом появилась ты и принялась мне мешать.

– Для бухгалтера у тебя слишком стоптанные ботинки. Да и по возрасту...

– Смотритель городских набережных. Каждый день обхожу оба берега, составляю отчёт для мэрии. Если нужно – помогаю рабочим. За дополнительную плату. А про мои башмаки... Когда не хочется объяснять их историю, говорю, что в далёком Париже каждый носит то, что у него есть.

– Здорово! Значит, я тоже парижанка?!

– Наверно.

Он долго молчал и много думал в последние месяцы.

Возникла потребность говорить с кем-то обо всём важном, спокойно произносить честные слова, непременно чувствуя при этом уважение к своим сомнениям.

Почему она?

Похоже, что приезжая. Да и смотрит прямо в глаза.

Зачем он сейчас рядом с ней?

Если возникнет хоть одна фальшивая нота, – он попрощается и уйдёт.

Но ведь выглянуло же на мгновения горячее осеннее солнце, и нужно стараться хотя бы коротко согреться в его лучах!

– Про одежду и обувь я знаю достаточно...

Одда отступила на шаг и, присев с фотоаппаратом, сделала снимок. Ещё один.

– Хотя могла бы изучить их и получше.

– Торговля?

– Нет, другое.

– Есть какие-то откровения?

– Вроде того...

– Например?

Улыбнувшись упряму, Одда кивнула на его ноги.

– Обычно туфли на шпильках говорят о желании достичь какой-то цели. Грубые башмаки, как у тебя, – это желание достигать цели любой ценой.

– Почти правильно. Но не про меня.

– И не про меня.

Позабыв про назначение фотоаппарата, Одда, шагая, небрежно показала им на ремне, потом и вообще повесила на плечо.

– Была манекенщицей...

– Моделью?

– Это разное.

– Не справилась? Выгнали?

Заметив улыбку, Одда показала ему язык.

– Было интересно, но слишком много лжи. Мне стало скучно. Моя бабушка сказала, что это произошло именно в то время, когда ушли с помоста манекенщицы, закончилась мода и началась одежда.

– Замужем? Откуда деньги на жизнь?

– Я выросла в богатой семье. У родителей никогда не было необходимости думать о деньгах. Они живут вон там, за рекой...

Одда махнула ладошкой в сторону чёрно-оранжевого кленового парка.

– А я вернулась к ним на прошлой неделе. И уже не замужем.

Он не задумывался над тем, как звучат его ответы. Она удивлялась простой силе и уверенности неожиданно услышанных и не придуманных слов. Как будто чистая вода...

С таким же наслаждением, как и слушала, говорила сама.

– Чем займусь? Не знаю. Одна моя знакомая, бывшая балерина, работает в конторе по аренде башенных кранов...

Он чувствовал, что это забавно, но – правда. Спешил сам.

– Однажды был в жизни случай – я проснулся утром в чужой кровати в деревянных башмаках.

Мгновение промедлив, Одда расхохоталась.

– Признавайся, это были излишества?!

– Да, мы проектировали в то время скандинавам причальные сооружения в одном их морском городке, славно сошлись там с местными ребятами характерами. Весь вечер танцевали что-то национальное, много пили. Вот.

– Послушай, а почему ты сейчас так?..

Одда нахмурила брови.

– Ты ведь образован, правильно? Почему сознательно небрит? Почему одет в старьё?

«Вот оно!»

Вдруг захотелось ответить, набрав полную грудь прозрачного воздуха.

– ...Посчитал, что жизнь закончилась. Зачем люди придумывают такую подробную ложь?! Я ведь делал всё возможное, чтобы наше счастье про-

должалось, но со мной поступили настолько грязно, что захотелось немедленно содрать собственную кожу...

Тронув за рукав, Одда тихим движением попросила его остановиться у парапета.

– Поначалу много занимался архитектурой прибрежных зон, реставрацией и проектированием набережных, мои мысли были интересны и поэтому стоили дорого, а потом, после всего... Слишком многое напоминало, не мог ничего и никого видеть, делать такие же, как и тогда, движения... Почти для всех стал чужим.

Оставил для себя простую работу, простые обязанности.

Денег хватает.

Квартиру сдаю, сейчас – голландским студентам, тоже будущим архитекторам, прежние коллеги им меня рекомендовали.

Сам живу на реке, на плавучем дебаркадере портовой администрации, там знакомый капитан... Вот так.

Одда заметила, как побелели костяшки его сильных пальцев, прочно держащие чугунный край парапета, но никак не могла видеть своё внезапно побледневшее лицо.

– И никого рядом?

– Если обезьяна протягивает тебе банан, то вариантов всего три. Ты некрасив, она умна, ты голоден. Кое-кто усмехался, предлагая мне мелкую помощь. Приходилось грубить.

– Хотелось выглядеть скромным?

– Многим скромность кажется чересчур вульгарным украшением.

– А компромисс? Пробовал?

– Компромисс, компромиссис, компромистер... Ради чего?

– Ладно, извини.

Потом Одда, строго глядя ему в глаза, угостила его на причале кофе.

– И не спорь – это гонорар за экскурсию.

Что было непривычным для обоих – они много смеялись.

– Ты говорила, что вовремя бросила свои модельные дела. Почему? Причины?

– Почувствовала, что затягивает. Не захотела продолжать.

– Морякам тоже знакомо такое...

Они смеялись и не стеснялись быть откровенными.

– Счастлив тот, кто, услышав вопрос «когда вы последний раз занимались сексом?», смотрит на часы, а не на календарь.

– А куда смотришь ты?

Спрашивая, Одда тревожилась, оставаясь лукавой.

– На ту, которая задаёт мне такой вопрос.

Их день был долгим.

Когда уходящее солнце сделало реку красной, он заметил, что Одда устала.

– Всё, всё. Тебе необходим отдых. Я привык к таким прогулкам, а ты...

– Пока нет.

– Тогда прощай.

– До завтра? Соглашайся, зритель! Сходим в кино. Во сколько?

Давно забытый запах утюга казался странным.

Линии тщательно отглаженного костюма поражали правильной геометрией, а с вечера ещё начищенные ботинки – лёгкостью, сухим и твёрдым кожаным скрипом.

Первый раз за многие дни он так внимательно брился.

Где-то в углу одной из его больших походных сумок нашёлся почти пустой флакон когда-то волнующего одеколона.

Рубашку и галстук он купил, запросто попросив капитана дебаркадера о кратком финансовом одолжении.

Фасон его почти позабытого белого плаща был вне времени.

Когда, полностью подготовившись, он выпрямился и встал перед высоким зеркалом в кают-компании – вздрогнул.

И это он был таким? Тогда, давно?..

К реке вышел заранее.

Ничего вокруг за прошедшие часы не изменилось: тот же самый бетон новой набережной, брусчатка древней мостовой, межленно восходящее солнце; редкие, привычные по своим утренним поступкам люди.

Другим был он сам.

Каждый шаг – как полёт, стремительный и точный. Тугие манжеты звали делать только значительные по своим последствиям жесты.

Горько и гулко прозвенела где-то в далёком парке осенняя птица.

Он коротко и нетерпеливо шагал из одного конца набережной в другой; желая сохранять приготовленное впечатление, зашёл под открытый навес музейного крыльца только когда упали первые и, как ему хотелось, случайные, капли дождя.

Через минуту ливень уже ревел потоками из водосточных труб, грохотал совсем близким расветным громом.

От воды, наверх, к лестницам, быстро собрав свои удочки и рюкзаки, пробежали два рыбака.

Знакомые, но вряд ли они обратили внимание на высокого, в плаще и в строгом костюме молодого мужчину, что-то ожидающего у дверей музея.

Да и он просто отметил взглядом их бегство, с тревогой наблюдая за другими событиями, происходящими на дальнем повороте набережной.

Он знал этого старика, инвалида на скрипучей коляске.

Каждое утро, если бывала погода, рыбака-инвалида привозил к реке сын. Ровно в полдень он забирал отца, помогая тому сделать несколько трудных шагов от парапета к коляске.

Старик всегда всем улыбался, приветствуя проходивших мимо людей удачным количеством пойманных рыбок в прозрачном пластиковом пакете.

Сейчас старик молча кричал...

Холодный дождь хлестал по тонкой спине, быстро прибав к пронзительно маленькой голове редкие седые волосы.

Рыболов сначала скрючился в своей коляске, не ожидая никакой своевременной помощи, рассчитывая только на скорое окончание дождя; потом поприжимал крохотные озябшие кулачки ко рту, что-то надумал, резко привстал, перевалился и выпал с сиденья на асфальт.

На коленях, по лужам, старик сделал несколько движений-шагов, толкая перед собой дёргающуюся маленькими колёсами коляску и часто, с заботой, поправляя связку удилищ, неаккуратно пристроенных поперек подлокотников.

Миновав пространство ровных луж, у первых же высоких ступенек, ведущих от набережной на городской мостик, старик попробовал было поднять руками и грудью коляску на препятствие, но упал. Коляска опрокинулась.

Кому другому могло показаться, что насквозь промокший старик кричит что-то злому небу, но он-то видел, что это были слабые слёзы бессилия...

– Давай, давай, приятель! Вставай! Ничего страшного, справимся! Ты пока держись за перила, отдохни, а я сейчас заброшу твой транспорт на мост, потом вернусь за тобой!

Дождь сохранял прежнюю силу, пронзая струями немногую оставшуюся осеннюю зелень прибрежных деревьев и с угрозой шелестя по шершавой реке.

Подбадривая, он уверенно улыбнулся, накрыл старика враз намокшим белым плащом и взвалил скрипучую коляску себе на плечо.

– Удочки...

– Извини.

Пришлось спешно нагнуться с ношей, собрать рассыпавшиеся по лужам невесомые разноцветные удилища.

Он чувствовал, как грязь с поднятых высоко колёс стекает на его уже совсем не твёрдый воротник рубашки, попадает в рукава; как насквозь, после первого же невнимания к глубокой луже промокли ботинки.

Оставил на мосту коляску, бросился вниз, к человеку.

– Ты это... ты иди, я теперь сам, справлюсь... парень, ты иди...

– Держи-ись, старик! Обними-ка меня за шею! Вот так, не смущайся!

Пожившее тело удивило лёгкостью.

В три прыжка он поднялся со стариком на мостик, опустил инвалида в коляску.

– Вот твои удочки, плащ оставь себе, накройся. Поехали!

– Нет, не надо!.. Погоди. Спасибо...

Издалека по пузырящимся лужам к ним мчался сын старика.

– Спасибо... Ты добрый.

И то ли дождь струился с мокрых волос на морщинистое лицо, то ли действительно это были слёзы.

«Ну, вот и всё, сюжет не для кинематографа...»

Он был уверен, что навсегда приучил себя не огорчаться, но ошибался.

«Грязный, мокрый, а она...»

Пассажирам проезжавшего в эти мгновения по мосту трамвая повезло – они увидели то, о чём нужно рассказывать замечательным и умным детям.

Два человека под дождём шли навстречу друг другу, сияя глазами.

Он – высокий, смуглый, в мокром и грязном костюме. Строгий галстук, белая рубашка.

Она – стройная, в тёмном платье. Красные туфли на невозможных каблуках. Спутанные ливнем волосы, только что бывшая шикарнейшей причёска.

– Ты почему закрыла свой зонт?!

Одда в ответ засмеялась, дрожа тонким телом.

– Я всё видела. Я видела тебя... Хочу так, как и ты.

Не решаясь ещё обнять, он взял в свои руки узкую женскую ладонь.

– Глупая.

– Вчера я со страхом ждала мгновения, когда ты начнешь лгать. Готова была сразу же уйти... Ты был честен. Имея возможность и соблазн не раз удачно и незаметно обмануть меня, ты сознательно так не поступал. Но это невозможно! Таких людей я не встречала. Так что...

Опустив голову, Одда подала ему и вторую ладонь.

Дыхание и дождь разрывали её торопливые слова.

– Ты всю жизнь хотел говорить правду, а я очень долго ждала, чтобы мне не лгали. Есть смысл продолжать добиваться желаемого вместе...

Он хохотал молча.

– Ты что?

Всё же решился, обнял и нежно поцеловал.

– Согласен. Только если ты уверена, что действительно этого хочешь.

2013

ЖЕНА СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА

Трудные жизненные ветра часто меняют людей, делают некоторые лица суровыми, а ладони – твёрдыми, но не всегда им удаётся до конца чьих-то дней остудить даже самое простое человеческое сердце.

Когда пришла телеграмма, старший матрос Томбс ни минуты не сомневался, деловито, с запасом, пригасил короткую сигару, с почтением известил о случившемся капитана, оформил в конторе судоходной компании три дня срочного отпуска и к вечеру уже дремал в печальном сумраке полупустого вагона, изредка всхрапывая и щурясь на фонари полустанков.

Город, куда он ехал на похороны почти забытой тетушки, немного смущал матроса Томбса громким морским именем, ведь там, на широких улицах, ему непременно придется, да и не раз, встречаться с настоящими моряками, возможно даже отвечать на непростые вопросы, разговаривать с ними о подробностях службы.

Конечно, Томбс тоже парень не промах, случалось ему в жизни забрасывать свой рабочий чемоданчик в каюты многих пароходов, и пассажирских, и грузовых, но это были всё речные посудины, с мелкой осадкой, никогда не знавшие солёной воды. Так уж вышло, что из всего задуманного им в юности мало что получилось. То ли характер Томбсу от матушки достался такой складной, да не норовистый, то ли сам он сильно заробел в тот самый – первый – раз, когда его, молодого ещё, но уже смышлёного, приглашали на перегон сухогруза в далекий австралийский Брисбен, но так всю жизнь ему и пришлось подавать чалки на речные пристани, отмечать громким голосом на вахтах разноцветные бакены мелких перекатов да изумляться только летним закатам, остывающим над дальними сосновыми лесами. А ведь мечтал, мечтал Томбс об океане, мальчишкой уже знал многое про Огненную Землю, готовился ответственно встретить-

ся с самыми ужасными штормами в Бискайском заливе! А что ж такого особенного расскажешь теперь кому о реке? Вот спросит его, к примеру, опытный моряк дальнего плавания про вант-путенс или, допустим, про каверзы приливных волн в норвежских фьордах, а он, Томбс, ничего подробно о таких важных вещах и не знает...

Чёрная парадная тужурка пришлась к случаю. Общество собралось тихое, с прежними ещё традициями, траур соблюдался всеми приглашёнными полный. Те из старушек, кто помоложе, вслух дружно отмечали статную фигуру старшего матроса, кто-то даже с одобрительным уважением, и признавал, что он «солидный»; шелестели вокруг старые ткани, слышался шёпот с придыханием, всё вокруг было чёрное, цепляли случайным узнаванием некоторые дрожащие, сухие глаза и давно забытые слова.

С облегчением, хоть и с некоторой опаской внезапных встреч, вышел Томбс после завершения всех погребальных церемоний на просторный летний бульвар, в городские крики и шумы, в смех и к изобилию живых одежд.

Какое же это удовольствие – солнце!

Хихикнули, мелькнув быстрыми заинтересованными взглядами в сторону форменных нашивок старшего матроса две встречные пёстрые дамочки; остановился вплотную к Томбсу, прищурился близоруко, с недоумением копаясь в собственных знаниях, взрослый студент; показался в конце аллеи настоящий военно-морской патруль. Томбс заволновался и на всякий случай свернул в переулок.

Кроме огромного порта, этот город славился и всемирно известным зоопарком. Вот где уж точно не встретить настоящих океанских матросов, которые, вероятно, стали бы обязательно насмешничать над речными якорями на медных пуговицах его совсем недавно пошитой тужурки.

Ступив за ворота зоопарка, Томбс купил себе у первого же мальчишки-разносчика большое мороженое и удобно уселся на скамейку.

Вот, правильно, и люди здесь другие.

Проходили мимо неторопливо женщины старшего возраста, няни с детьми, мамы с колясками, гимназисты.

Детишек-то Томбс всегда любил; обязательно при случае, если среди пассажиров встречались какие приветливые или воспитанные, старался угостить их сладостями или рассказать что-нибудь интересное про паром, да и о происшествиях своих матросских, заковыристых, обязательно упоминал.

А вот с женским полом у Томбса отношения не сложились. И не желат он был в свои-то достойные годы, и не намечалось пока у него ни с кем ничего серьёзного. Нет, конечно, дамочки на него с уважением всегда

смотрели, одобрительно; да и в компаниях он мог запросто привлечь чьё угодно внимание; свахи несколько раз к нему с намёками подъезжали, но Томбс никак всё не мог решиться... И женщины вроде бы в каждом случае попадались приличные, некоторые даже с положением в обществе, была даже одна хозяйка кондитерской, и отношения совместные он всегда создавал вроде бы прочные, не на один день, обязательно с перспективой, чтобы женщину не обижать и не разочаровывать, а вот не случалось. Не такие они были все, что-то непонятное мешало Томбсу каждый раз принять важное и окончательное решение, какой-то туман, неясное предчувствие, смутное облачко далёкого жизненного воспоминания. Томбс затруднялся.

По тротуару, почти под самыми ногами Томбса проехали на игрушечных велосипедах, обгоняя друг дружку и громко сигналиа, два упитанных малыша. Вдалеке, за деревьями, заиграла весёлая музыка.

Мороженое закончилось, он аккуратно вытер платком губы и руки. Встать с тёплой деревянной скамейки и куда-то идти страшно не хотелось. Случись это дело не в таком людном месте, Томбс непременно бы подремал несколько минут на свежем воздухе, притворяясь, что задумался о чём-то важном, но здесь, в чужом городе, он чувствовал какую-то неловкость.

Он только ненадолго прикрыл глаза, с улыбкой щурясь на солнце.

А может, медведей сходить посмотреть? Не хочется... Медведей он, что ли, в своей жизни не видывал... А те трое, на перекате, когда пришлось по осени везти последнюю почту в верховья реки... Забавные такие, пушистые, брызгались, бегая по отмели... Или лучше ещё купить мороженого? Наверно, вишнёвого. Конечно. Но попозже.

Теплый воздух в тени создавал необходимую прохладу. Дело сделано, поезд вечером, обратный билет в кармане, никто его понапрасну не беспокоит. Хороший ведь город!

Звуки музыки, доносившиеся до него не вполне ясно, смешивались с близкими звонкими голосами ребятни. Рыкнул где-то большой зверь, скрипнула неисправным колесом совсем рядом детская коляска. Солнце по-прежнему горячо и оранжево слепило его закрытые глаза, но день, яркий, как он помнил поначалу, вдруг начал тяжелеть и наполняться чем-то, несомненно, важным.

Томбс услышал смех.

Смеялась женщина.

Прежняя жизнь приближалась к Томбсу. Он сильно зажмурился, сжал крепкими пальцами край скамейки.

Да, это была она.

Не мудрено, что удалось так правильно отгадать её смех. Она не могла измениться.

На повороте соседней аллеи, прогуливаясь, разговаривали три молодые женщины. Их пышные нарядные платья, сливаясь, казались большим цветочным украшением. Дамы одинаково выделялись общей красотой молодых горожанок, но только одна из них была прекрасна.

Прошло несколько минут, и Томбсу всё-таки удалось убедить себя, что невежливо так долго сидеть в приличном обществе с открытым ртом, причиняя, возможно, некоторое неудобство окружающим. Именно поэтому он поспешно вскочил со скамейки и, стараясь оставаться неузнанным, ринулся к выходу из зоопарка.

Беспорядочно и без точной цели передвигаясь скорым шагом по улицам большого города, старший матрос Томбс, потерявший к тому времени всякую осторожность, широко улыбался и готов был делиться своей радостью с каждым встречным. Душа требовала встряски, невозможное стремительно проникло под плотную ткань его чёрной форменной одежды.

Он прав!

Ещё один поворот на случайную улицу, ещё круг по шумной площади. Он был прав! Как славно не допустить ошибки в таком важном деле!

Томбс служил тогда молодым матросом. Это сейчас, когда прошли годы и его в конторе уважают, приглашают с почтением в конце навигации на банкет – «замораживать винты», как говорят речники, перед тем как оставлять пароходы в затоне на зиму, даже старые капитаны непременно жмут старшему матросу Томбсу руку и предлагают табак. А тогда...

Нет, положительно, какая сегодня жара и от этого сухость в горле!

Томбс огляделся по сторонам.

Атмосфера в заведениях портовых городов состоит равно из восторга и серой скуки. Разговоры там наполнены искренним изумлением моряков, только что вернувшихся из плавания и ещё не успевших остыть от красот дальних морей, и тягостной завистью тех, кто лишён возможности восхищаться настоящей жизнью.

Теперь, после произошедшего, Томбс был отважен и с порога громким голосом потребовал много рому.

В тёмном после солнечной улицы помещении раздались одобрителльные голоса, для удобства приличного гостя трактирщик взял Томбса за руку, проводил и усадил его за лучший столик. Из дальнего угла к нему двинулся человек.

– Ну, и что же такого хорошего в твоём мире, приятель?

В другое время Томбс непременно смутился бы, возможно даже отставил бы в сторону недопитую кружку. Конечно, когда на скамейку рядом с тобой опускается настоящий моряк, с усами, с трубкой в зубах, по-дружески обнимает тебя за плечи татуированной рукой... Но в этот миг Томбса

волновало другое. Сделав первый крупный глоток, он перевёл дыхание и, доверительно взглянув, пододвинулся ближе к собеседнику.

– Понимаешь, дело было в середине августа...

Да, звенели тогда чудесные летние вечера. Пароход, на котором служил Томбс, делал обыкновенный прогулочный рейс из столицы на юг, к устью большой реки. Пассажиров из города набралось немного, шумела только целыми днями на палубах разноголосая каникулярная группа младших школьников, детям требовался постоянный присмотр, капитан терпеливо повторял это своим подчиненным каждое утро.

Остальные пассажиры не доставляли никаких хлопот. Деловито выходили к завтраку несколько пожилых семейных пар, отдельно сучали на верхней палубе случайные молчаливые мужчины и женщины из тех, кто обычно предусматривает многое, которые и на этот раз рассчитывали получить хоть какое-то удовольствие от своего неспешного перемещения по широкой реке.

Утром пароход останавливался в очередном городе, почти все пассажиры уезжали на экскурсии, экипаж занимался работой, матросы принимали свежую провизию, скатывали водой просторные палубы, красили по необходимости инвентарь. Так было всегда: утро – город, вечер и ночь – неспешный ход по тёмной воде, изредка отражающей далёкие береговые огни.

На одной из пристаней на борт парохода поднялись двое. Засмотревшись на них, Томбс громко уронил ведро на палубу.

Называть их мужчиной и женщиной было, наверно, рановато. Первой шла удивительной красоты девушка, за ней, улыбаясь, легко нёс чемоданы высокий широкоплечий мальчишка.

И официантка из нижнего салона тоже разбила тогда стопку тарелок.

Случилось так, что именно после остановки в этом городе погода странным образом изменилась: солнце стало светить как-то по-особенному, не отвлекаясь на долгие споры с облаками; из-за дальних равнинных гор всё чаще стал прилетать на реку ветер с необычным, счастливо тревожащим дыханием запахом прохладных волн.

Очень скоро к молодым пассажирам устремилось общее заинтересованное внимание всех пливших на пароходе. Совсем не желая выделяться среди прочих людей ни голосами, ни поведением, девушка и юноша простыми, лёгкими движениями, взглядами и улыбками во всём казались другими, чем-то неуловимо не похожими на остальных. Каждый раз, появляясь на палубе, они были вместе; прогуливались, держась за руки; в одном направлении одновременно смотрели на медленные низкие берега,

подолгу разговаривали, потом так же неспешно вдвоём уходили в каюту.

Девочкам из школьных экскурсий теперь уже непременно требовалось в своих играх пробегать мимо новой пассажирки, а некоторые, особо быструглазые, уже на следующий день закалывали волосы в пышных причёсках так, как она, и старались приветливо кивать старшим, выходя утром в салон к завтраку.

Веснушчатый юнга первым из экипажа умчался в город на ближайшей же береговой стоянке и, ещё не закончилось окончательно медленное росистое утро, как он, притащив откуда-то полную фуражку оранжевых абрикосов, со страшным смущением, в полной уверенности, что его никто не видит, высыпал подарок под приоткрытые жалюзи, на подоконник её каюты.

Самая младшая буфетчица и до этого случая, так просто, по характеру, всегда собиравшая при случае цветы на берегу, для себя, «для настроения», невзначай поставила милый полевой букетик на столик, зарезервированный для молодой пары в обеденном салоне.

Девушка-пассажирка привлекала общее внимание своей пока ещё тайной, неуловимой, не каждому ясной, но уже жаркой, стремительно расцветающей красотой, а её точный смех, не обращённый ни к одному из посторонних, заставлял окружающих мужчин произносить пустых слов меньше, чем обычно, а то и попросту опускать глаза, проходя мимо.

Томбс с первых же дней, помогая по необходимости буфетчикам в салоне, отметил, что юноше всегда удавалось смотреть на свою подругу по-настоящему взрослым спокойным взглядом. Говорил он мало, а улыбался только ей. На любое обращение за общим столом с просьбой передать какой-нибудь уж очень милой и настойчивой даме соль или салфетку он отвечал всегда ровно, негромко и одинаково. На незначительные вопросы пассажиров-мужчин о прелестях предстоящей стоянки в очередном городе он не спешил что-то говорить, но ответив и считая свою миссию по отношению к постороннему человеку выполненной, всегда немедленно и нетерпеливо возвращался взглядом к ней.

Малая деталь – Томбс работал в тот день на палубе и стал случайным свидетелем, как один из скользящих господ грубовато, да-да, именно так, не то, чтобы совсем уж грязно, а просто привычно и скучно произнес неприятное слово в присутствии молодой пары. Или господин нарочно желал показаться девушке опытным и циничным, или же его воспитания хватало только на вечерний преферанс, но в ответ одновременно возникли и милое женское недоумение, и угроза на лице юноши.

Ясный взгляд, как прозрачная светлая сталь, как нож у глаз собеседни-

ка, – Томбс всего лишь однажды видел такое в своей жизни, давно уже, в ночной портовой драке, а тут, на тебе, мгновенно всё вспомнил.

После этого досадного случая Томбс стал жить в ожидании чего-то тревожного, принялся гораздо пристальнее наблюдать за удивительными пассажирами, специально выбирая моменты и возможности, чтобы почаще видеть их.

Каюта для молодой пары была заказана самая лучшая, но погода удивляла своим великодушием и они, как и другие пассажиры, много времени проводили на палубах. Не искали нарочного уединения, но как-то всегда получалось, что Томбс замечал их только вдвоём.

Шли дни путешествия – двигаясь к устью, река наливалась гигантской водной силой, оправданно казалась шире и просторней, каждое утро дальние берега рассмотреть было все трудней, а опасность такого пространства все чаще становилась предметом легкой озабоченности общих послеобеденных разговоров, привычных для публики, собиравшейся в музыкальном салоне.

Дневная жара заставляла допоздна держать окна и в курительной комнате, и в кают-компании, и в салоне открытыми. Никто не был против легких ветерков.

Выполняя рабочие распоряжения капитана, Томбс частенько легкомысленно нарушал правила, когда пробегал по палубе мимо распахнутых пассажирских окон, при этом он, конечно же, не отвлекался, не обращал никакого внимания на звуки рояля и резкие всплески хохота пожилых дам, но кое-что всё-таки успевал замечать.

Как-то поздним вечером, когда звезды уже укрупнились и заняли свои точные места на тёмно-синем небе, Томбс в очередной раз не удержался и заглянул через приоткрытое окно в прозрачные занавеси музыкального салона. Мальчишка полулежал на угловом кожаном диване, опустив голову на колени сидящей девушки, а она, засмотревшись в тихом молчании на далёкие звезды, гладила его по светлым волосам.

Матросу Томбсу редко доводилось радоваться в привычных жизненных ситуациях, поэтому он сильно тогда удивился своей широкой улыбке.

На третий вечер одна из уважаемых дам, собравшихся помузицировать, таинственно рассказала всем, что вроде бы ожидается скорая свадьба, что молодые едут на встречу к его родителям, что он моряк, штурман, и – старушка закатила глаза – скоро юношу ждёт значительное с точки зрения карьеры кругосветное плавание! Рассказ нечаянно услышала официантка, разносившая по салону чай и пирожные, и к концу дня весь экипаж обсуждал такую на редкость приятную новость.

Вспоминая хорошее, Томбс уже не смотрел на случайного собеседника, говорил прямо и решительно, не замечая, как на звуки его громового голоса из тёмных трактирных углов выползают какие-то дряхлые и мутные типы, в рванье, в помятых и грязных форменных фуражках, с потемневшими золотыми серьгами в ушах, хромые, слепые, с гнилыми ухмылками, с жадным блеском пьяных глаз.

– Угостишь, приятель?

Все пили его ром, слушая и с пониманием кивая лохматыми головами.

Старшему матросу Томбсу не нужно было скрывать от них своих радостных слез – он продолжал рассказывать.

В тот вечер, накануне, капитан разрешил долгожданный фейерверк.

Мероприятие случалось почти каждый рейс, но обязательным условием праздника должна была быть или очень хорошая погода, или нормальное состояние капитанской поясицы. Тогда эти обстоятельства к удовольствию путешествующих совпадали, команда спешила с подготовкой, шеф-повар на утренней стоянке лично выбрался на городской рынок, купил свежайшей летней провизии и дорогих вин, пассажирки готовили свои лучшие платья. Дети радостно шумели.

Забот на Томбса свалилось много, он в прекрасном настроении носился по пароходу, помогал всем, участвовал во всех подготовительных мероприятиях, надувал разноцветные шары, откликался на просьбы, хохотал над неуклюжестью и смущением взволнованного предстоящим событием рыжего юнга, и уж, конечно, старался точно и безукоризненно выполнять все приказы капитана.

Потом, уже ближе к полуночи, когда пароход выкатился в тихом движении на самую середину черной и бескрайней реки, грянул фейерверк!

По такому случаю оставались включёнными все палубные огни, проекторы и праздничные гирлянды, на палубах гремела музыка, смеялись даже те, чьи лица оставались скучными с самого начала пути.

Кто-то попросил Томбса принести шезлонг, и он, лихо козырнув, прогрохотал каблуками по трапу.

Внизу, в темноте кормовых надстроек, стояли два человека.

В жестоком упрямстве наклонив голову, юноша что-то с резкостью говорил своей спутнице, крепко держа её перед собой за слабые руки, а она отвернулась, кусая кружево маленького платка. И, кажется, плакала.

Томбс, незамеченный, тихо ступая по деревянной палубе, развернулся в другую сторону. Сердце его почему-то тогда страшно стучало.

Потом праздник закончился, все разошлись, матросы и ресторанный обслуга сделали привычную уборку, вахтенный помощник выключил

лишнее наружное освещение. Пароход продолжал свой путь по великой реке.

В каюте боцмана под добрые слова Томбсу налили стакан рому.

Спал он в ту ночь тревожно.

И проснулся, сброшенный с койки рёвом аврального гудка.

В сером рассвете уже скрипела за бортом, покачиваясь на тросах, спасательная шлюпка. Было пронзительно холодно и сыро от обильной росы, осевшей на ночь на корабельном металле.

– Пойдёшь загребным, пошевеливайся!

Томбс даже поначалу и не сообразил, о чём же таком непременно нужно спросить у боцмана, почему это всё происходит, зачем их так рано подняли, по какой причине разразилась такая непривычная суета. Его ошеломил железный голос капитана, доносившийся до нижней палубы через рупор; кроме того, Томбс успел сильно стукнуться коленом на трапе, сбега к шлюпке. Раздались женские крики.

– Помогите же ему! Помогите!

На капитанском мостике металось белое платье.

– Возьми фонарь! И веревки.

Боцман хлопнул Томбса по спине, ухмыльнулся, ткнул пальцем в сторону мостика.

– Эта, молодая, кричит... Требуется скорее спасать. Говорит, что её парнишка совсем плавать-то не может! Моряк, тоже мне! Наберут детей на флот!

Со своим тяжеленным веслом Томбс справился быстро и правильно. Как вцепился в него дрожащими от волнения руками, так и не выпускал до самого берега. Неделию потом волдыри с ладоней через тряпочку сводил, с дикой болью даже за самую лёгкую работу брался, и спать ложился, тоже страдая.

Капитан определил их шлюпке правильный курс ещё до отплытия, да и потом долго рычал вдогонку с мостика в рупор, подправляя движение по серой реке.

Боцман прислушивался к командам, рулил, отхлёбывая понемногу из своей фляжки.

– ...Не спалось мне, уже под самое утро проверял вахту. К штурманской рубке только подошёл, как она пробежала мимо... В платье, босая. Капитана требовала, кричала криком... Ну, я-то сразу понял, что беда.

По реке далеко раздавался стук весел и обратные знакомые голоса с невидимого уже в рассветной дымке парохода.

– К капитану бросилась плакать, всё повторяла, что тот её, ... ну, жёних-то который, бросился за борт. Да, так прямо и кричала, что бросился,

что она виноватая, что это она обидела его! Чем, чем?! Откуда мне знать, она вся в слезах была, ничего толком другого-то и не говорила. Умоляла спасти, на колени падала.

Река действительно сильно остыла за ночь, Томбс дрожал от каждого движения, допускавшего влажный воздух за ворот рабочей куртки. Он поднимал своё весло над водой, следил за правильными общими взмахами тяжёлых лопастей, изредка оборачивался и очень спешил увидеть того, кто сейчас был так несчастен.

Плыли они очень долго, казалось, что всё напрасно, что уже никого и никогда не найти им в такой большой воде.

Плавная безучастная зыбь ровно шипела по бортам шлюпки.

Раннее утро и гнетущий холод со всех сторон заставляли Томбса думать тупо, с медленным упорством: «Зачем?!»

Широкая и ровная поверхность по курсу шлюпки обозначилась тёмной прибрежной полосой. Уже выделялись отдельные высокие деревья над песком, а они так ещё никого и не нашли.

– Вот он! Добрался!

Боцман привстал в шлюпке, протянул вперёд руку, указывая направление.

– Живой ведь, поганец... Сам доплыл.

Без команды Томбс бросил весло, соскочил в уже мелкую забортную воду, в несколько прыжков домчался до отлогого берега.

На сером песке сидел, сгорбившись, опустив голову в руки на коленях, человек. Разглядеть его лицо было трудно, но Томбс знал, что это именно тот, кому он радовался все последние дни рейса.

Не золотистые, как всегда, а спутанные тяжёлой водой тёмные волосы; обнажённое стройное тело, мокрые брюки, босиком.

С тоской посмотрел юноша на Томбса, не узнавая.

Другие матросы под предводительством боцмана с опаской подходили к ним от шлюпки с разных сторон.

– Верёвками руки ему вяжите! И ноги крепче спутайте!

Боцман угрожающе выкрикивал команды, размахивая багром.

Томбс искренне удивился.

– Зачем?! Он же никому, ничего...

– Уйди, защитничек! А ты подумал, как доставлять-то его на пароход будем? Прыгнет вот он опять посреди реки – поди, поймай, а потом ещё возьмёт, да ненароком и до конца утопнет... Не мешайся.

Встав в полный рост, выше всех матросов, юноша с усталостью оглядел туманные прибрежные кусты и покорно протянул вперёд сложенные руки.

На обратном пути Томбс сам уже постарался, чтобы слёзы и пот помешали ему смотреть туда, где слишком близко, на ребристом дощатом дни-

ще шлюпки, уткнувшись в грязную не отлитую воду, лежал без движения связанный человек.

Потом уже, на пароходе, парня протащили по трапам вниз, в полутёмный трюм, накинули петлю не развязанной на руках веревки на крюк под потолком.

По всем правилам судоходства нужно было проводить неотложное следствие, выяснять причины, по которым пассажир парохода попал за борт; не пытался ли кто его таким образом убить или, может, он сам, тьфу-тьфу, захотел, что смертельное с собой сделать.

В трюм спустился капитан, долго орал на всех; жёлтый с мятым спросо- нья лицом, страдальчески держался за поясницу.

Юноша молчал, не отвечая. На прикрытые глаза со лба, с волос сочи- лась ещё речная вода, изредка, в ответ на страшные капитанские оскор- бления вспухали на лице упрямые желваки.

В тесном сумраке трюма матросам, стоявшим поодаль, за капитанской спиной, было неловко смотреть и слушать, но с любопытством и нетер- пением они ожидали какого-то таинственного окончания этой странной истории.

Боцман предложил было капитану побить непочтительно молчавшего мальчишку, но тот махнул рукой и разрешил привести её.

Томбс тихо охнул и спрятался ещё дальше, в самый угол.

Он уже успел на палубе поссориться со своими товарищами и даже опрометчиво схватить за грудки боцмана, защищая от грубостей натво- рившего дел пассажира. Горячо и взволнованно Томбс уверял всех, что не могли юноша и девушка так ненавидеть друг друга, что этот смертельный поступок случился только от великой любви, что нельзя попусту сердить- ся на них.

Матросы смеялись над непривычными словами, устало ругали парня, говорили, что в жизни так не бывает.

Скоро привели в трюм девушку.

Капитан и её пытался заставить говорить об истинных причинах про- изошедшего, время от времени кричал и, размахивая руками, спрашивал, что же с ними обоими ему теперь делать, сдать властям или решиться на что-то другое, но девушка только тихо плакала, держа ладони у рта.

Двое не смотрели в глаза друг другу.

Юношу было жалко. Обессилен, худой, в мокрых и грязных белых брюках, он еле стоял, держась связанными руками за высокий крюк, она – плохо причёсанная, с опухшим от слёз лицом, опустилась перед ним на колени.

Через час капитан утомился и закончил допрос, приказав поскорее по-

давать завтрак себе в каюту. Матросы увели, поддерживая под руки, девушку, боцман ткнул Томбса пальцем в живот.

– Охраняй. Скоро подмену. И чтобы без всяких там шуточек, без жалостей, смотри у меня!

Все быстро ушли, в трюме остались только далёкий гул машины за переборкой и очень неприятная для матроса Томбса тишина. Ну, конечно, и тот, что так безнадежно крепко связан...

Томбс пытался ходить около двери, считал собственные шаги, изо всех сил стараясь не поворачиваться под свет тусклого фонаря, и был уверен, что такие, прежние, взгляды и улыбки нельзя испачкать никакими обидами и допросами.

Юноша тихо простонал, тихо вскрикнул.

Томбс с поспешностью протянул к его губам кружку с водой, но пассажир прикрыл глаза и медленно, отрицая помощь, покачал головой.

Томбсу хотелось или крепко уснуть, или немедленно броситься за борт.

Заслышав стук боцманских башмаков на трапе, Томбс решился, рванулся из своего угла к юноше, прошептал, придвинувшись к нему вплотную.

– Держись, дружище, прошу тебя! Вы же ведь не поссоритесь, верно?! Держитесь, ладно...

Этим же утром их высадили с парохода в случайном городе, где, как всегда, были предусмотрены привычные экскурсии для других пассажиров.

Тяжёлые шаги, опущенные плечи, одинаково бледные лица – они с общей неуверенностью, торопливо, не держась уже за руки, сошли по деревянному трапу на берег.

Матросы и официантки смотрели на такое бегство украдкой, со шлюпочной палубы, из-за занавесок салонов и ресторана. Юнга напрасно махал им на прощание, стараясь быть замеченным, одна из младших девочек-пассажирок не сдержалась и громко заплакала.

Наступила тишина.

Старший матрос Томбс грохнул пустой кружкой по столу.

– Так всё и было, ребята.

Толпа вокруг него зашевелилась, сразу же высунулся из первых рядов беззубый инвалид, смачно сплюнул на пол.

– Денег она у него, что ли, попросила?

Бродяги дружно захохотали. Татуированный моряк жадно задышал в лицо Томбсу.

– А ты, приятель, тоже на что-то рассчитывал? Ну, с этой,... с пассажирской-то?

Старший матрос Томбс ещё раз пристукнул глиняной кружкой о стол, поднялся со скамьи, одёрнул тужурку, строго посмотрел на этого коротышку и пьяницу.

– И среди видевших Канарские острова бывают болваны.

Хозяин заведения, за свою жизнь наблюдавший много конфликтов среди серьёзно настроенных мужчин, подскочил к Томбсу, требуя немедленного расчёта.

Старший матрос бушевал, но не под действием выпитого рома, а от желания защитить то, что долгие годы нежно согревало его душу.

– Эх, вы! Ничтожные ваши личности, мелкие ваши желания! Идите в свои заморские страны, убивайте своих китов и дальше!

Совсем ему расхотелось говорить с этими морскими сволочами.

Ноги сами несли к зоопарку, но Томбс сделал над собой усилие и вернулся к вокзалу. Зачем ему идти куда-то ещё? Главное он уже видел.

Он, один, чувствовал всё. Нельзя же было рассказывать и дальше таким черствым, непонимающим людям о своей громадной нечаянной радости. К чему им знать об этом?!

Только что, на аллее зоопарка, он увидел ту девушку, юную пассажирку с того самого парохода. Нежную, красивую. И этого хватило бы старшему матросу Томбсу для собственного тихого счастья на многие годы вперед. Но...

По спуску мощёной дорожки, незаметно выглядывавшей из-за больших деревьев, к ней тогда подошли двое, статный молодой господин и маленький кудрявый мальчик с солнечным лицом. Мужчина был широк плечами, в дорогом костюме, сильная ладонь в тонкой перчатке бережно лежала на плече мальчугана.

Женщина, мужчина и ребёнок с внимательной доверчивостью смотрели в глаза друг другу, вместе смеялись, держались в круг за руки.

Мужчина на секунду отвлёкся, привычно охраняя покой дорогих ему людей, оглянулся по сторонам. Увидел изумленного Томбса. Узнал.

Тот же взгляд – как нож. Как уверенный сильный стальной клинок. Как приказ не узнавать.

Через мгновение мужчина спокойно, на прощанье, улыбнулся Томбсу.

И они втроём ушли по аллее.

«Какой он строгий, в штатском костюме. Наверно давно уже отошёл от морских дел. Ну и правильно, ну и нечего... Морякам не всегда удаётся правильно воспитать сыновей, сыну нужно видеть отца каждый день».

Старший матрос Томбс дремал в ночном вагоне и гордился своей жизнью.

ГАВАНЬ ЧЕРЕМИНГО

«Счастливы люди, в чьи города по утрам залетают чайки...»

За канализацией добросовестно следили и его отец, и дед.

Это нехитрое дело позволило им ровно прожить в разное время и в разных городах свои одинаково долгие, пустые жизни, и умереть не только без пышных похорон, но и без долгой памяти о себе.

Многим незначительным людям, среди которых последние годы вынужденно существовала их небольшая семья, приходилось, конечно, сотовать на различные жизненные обстоятельства, но именно его судьба огорчила вдвойне: ужасной чёрной повязкой на пустой глазнице он был похож на пирата, а вот морским разбойником никогда не был, о чём тяжело и бесполезно сожалел.

...К рабочим кварталам трёх гигантских текстильных мануфактур с запада плотно примыкали ряды многоэтажных доходных домов, под угрюмыми крышами тёмных зданий тесно и голодно жили десятки тысяч людей, а он вот уже который год привычно и честно выполнял всё ему порученное, ответственно наблюдая, чтобы внутренности этих чудовищных, по сути и по внешнему облику, человеческих муравейников никогда не пересыхали бы без питьевой воды и вовремя, в нужном порядке, с соблюдением всех законов, могли изрыгать эту использованную воду наружу.

Никому не было интересно, откуда он здесь когда-то появился и как достался ему, такому безобразному, в сыновья чудесный четырехлетний мальчишка Кит.

Чугун канализации и холодные, почти всегда ржавые водопроводные трубы кормили его и сына.

За годы такой работы он привык точно знать, какую квартиру и в каком доме должны вскоре покидать жильцы. Люди в его районе часто умирали от преждевременной старости, иногда погибали в цехах мануфактур, разорялись, а он всегда опытно чувствовал, какая жалкая мебель и нищенская утварь может остаться в их жилищах после вынужденного бегства несчастных. Изредка его звали грузить скудное имущество отъезжающих, и благодарностью за такой труд бывало неизменное предложение какого-нибудь ненужного людям в пути сломанного стула или искалеченной временем детской игрушки.

В подвалах и на чердаках доходных домов всегда можно было найти пыльные книги, связки жёлтых газет, старые одеяла и он пользовался каждым удачным случаем, чтобы принести домой что-нибудь полезное.

Он много и тщательно трудился, сознательно отказываясь от странно незанятых делами выходных дней, стремился всегда и в каждом сложном техническом случае быть необходимым, понимая, что о таком выгодном местечке мечтают многие из хмурых безработных мужчин, живущих в тёмных домах по соседству, и что в случае любого своего промаха или проявления безответственности он может быстро потерять в жизни всё.

Управляющий, однажды отметив его добросовестность и честность, иногда рекомендовал его для работы в богатых домах по соседству, за рекой, и если уж вдруг так случалось, снисходительно позволял ему сделать что-нибудь личное по хозяйству в счёт задержки в оплате арендуемого им подвальчика.

Какие-то денежные крохи он всё равно откладывал, опасаясь не успеть...

В далёком спокойном детстве он часто расстилал на полу географическую карту и мечтал обязательно написать там маршрутами своих будущих путешествий и приключений собственное имя. Сейчас же, часто пробираясь по замусоренным улицам в свой тёплый и затхлый подвал, он упрямо думал о том, что неведомый ему самому сияющий океан когда-нибудь непременно должен увидеть его сын.

Маленький Кит рос в каменном сумраке бледным и тихим, любил читать в одиночестве те самые книги без обложек, которые отец приносил с чердаков, и которые они сначала непременно прочитывали вслух вместе; сын привык не скучать и не плакать, пока он подолгу бывал на работе. Иногда, правда очень редко, когда им выпадала возможность немного погулять, они уходили за дальний забор фабрики, в царство грязно-зелёной травы и тощих низких кустов.

Кит часто понемногу болел, но денег даже на простые лекарства никак не могло хватить, хоть отец и готов был ради сына в каждую минуту взяться за любую предложенную работу.

Однажды по весне дошло до серьёзного, Кит вот уже два дня метался под потным одеялом и он, умоляя и обещая обязательно рассчитаться позже, привёл в свой подвальчик фабричного доктора.

– В таких условиях ребёнку осталось... – толстяк, вытирая руки после умывальника, оглянулся через плечо и продолжил тише, – осталось ему не больше года. Ваши лук и кислая капуста – не те в данных обстоятельствах овощи, да солнце ему нужно настоящее, без пыли...

Крохотное тельце содрогалось тяжёлым кашлем, а отец, давно уже за ненужностью позабывший даже самые простые молитвы, поднимал взгляд вверх, пронзая требовательным желанием низкий закопчённый потолок.

– Кит, ты слышишь меня?!

Он шептал, вытирая чистой тряпицей детский лоб, часто и бесполезно поднося к стиснутым губам мальчика кружку с водой.

– Кит, Кит?! Мой славный Китсон! Выздоровливай быстрее, пожалуйста! Мы обязательно скоро поедem с тобой на море, мне обещали за рекой хорошую работу, я непременно с ней справлюсь, и ты тогда обязательно увидишь у моря белых чаек...

Тогда всё обошлось с болезнью, но не получилось с выгодной оплатой, и он опять изредка приносил домой только подмокший чеснок, который отдавал ему по знакомству добрый зеленщик.

Несмотря на постоянные заботы, они с сыном много смеялись, шутили над своими огорчениями; если уж вдруг у них не было непрочитанных книг, обходились вечерами удивительными рассказами, которые он выдумывал охотно и тщательно. При всяком удобном случае он запоминал самое лучшее из пьяных воплей старых матросов в соседнем бордингаузе и ловко пересказывал эти истории Киту, постоянно с уверенностью подерживая в сыне свою никак не заслуженную славу бывалого моряка.

– Смотри, папа, огонь хохочет...

С улыбкой Кит отворачивался от жаркого оранжевого света, опустившись на корточки у маленькой кирпичной печки и наблюдая за отличной тягой, с какой взялись в топке дрова, только что принесённые отцом с улицы.

В те первые дни управляющий разрешил им немного пожить в этом подвальчике, кем-то давно оборудованном под мастерскую. Иных возможностей так и не появилось, да и они привыкли к такому своему несуетливому и нетребовательному существованию. Он часто плавил в печке старый свинец, отжигал невозможно трудные в работе, прикипевшие друг к другу куски ржавых труб и фасонных креплений. Сладкий цинковый дымок неспешно уходил тогда в крохотное раскрытое окошко, а Кит, заботливо укутанный им в ватное одеяло, внимательно слушал его морские рассказы.

Для того чтобы постучать молотком или же без опаски поскрежетать по железу напильником, он выбирал моменты, когда сын не спал или увлеченно занимался в своём уголке игрой в самодельные деревянные кораблики.

Дальнюю часть мастерской он приспособил для хранения печных дров, в которые превращал всю ненужную, попутно найденную им по старым домам и чердакам мебель. Очень скоро он научился расправляться даже с дубовыми ножками продавленных стульев без пилы, а просто с грохотом переламывая их ударами своего двухфунтового молотка.

Привычно хрюкнула под потолком каморки длинная, давно не чищенная канализационная труба. Занятый наблюдением за искрами и грея руки у открытой дверцы печурки, Кит задумчиво молчал.

– Папа, а почему солдаты всегда в зелёном?

Пока он готовился к подробному ответу, сын догадался сам.

– А-а, это чтобы их не видно было на поле боя?! Как огурцы!

Он улыбнулся, радуясь крохотной мальчишеской улыбке.

– Хочешь послушать ту страшную историю, которая однажды случилась с нашим фрегатом около берегов Мавритании?

– Когда ты ещё спас там красавицу принцессу? Нет, лучше расскажи мне сегодня про гигантского кальмара, погубившего в индонезийском проливе почтовый пароход со всеми грузами и многочисленными благородными пассажирами!

– Это про нашу смертельную битву с этим страшным чудовищем? Хорошо, слушай...

Как-то он работал на чердаке одного незнакомого дома. В прозрачном воздухе за стеклом чердачного окна недвижно висел крохотный, размером с ноготь, кусочек черепицы, недавно упавший с крыши. Тёплый ветерок, поднимавшийся вверх, плавно раскачивал глиняную чешуйку, и она как будто самостоятельно парила в пространстве.

Он поначалу сильно удивился, но скоро заметил, что черепичка всё-таки летает за окном не сама по себе, а держится на незаметной, прозрачной осенней паутинке.

Он улыбнулся, коротко отдыхая, так и не выпустив из руки молоток. Ставшие короткими дни уже несли людям первые холода и ожидание неминуемых зимних забот.

Он вздохнул, почувствовав, что слишком уж отвлёкся от работы, и вновь принялся короткими и точными ударами молотка чеканить тонкой полоской свинца стык грубой канализационной трубы.

Через час ему потребовалось спуститься в подвал этого почти незнакомого по работе дома, он, чертыхаясь, пробрался в дальний угол, отодвинул там какой-то вконец разломанный дощатый ящик, ударился при этом плечом о выступ тёмной и пыльной кирпичной стены и в сердцах пнул ветхую ивовую корзину, тоже мешавшуюся под ногами.

Прутья корзины сухо пискнули, и она кротко развалилась на части, оставив на полу подвала кучу тряпья, две растрёпанные книги, ворох ржавых от времени бумаг и небольшую, грязную, без рамы, картину.

Чтобы досыта натопить их печку в такой прохладный вечер, барахла из корзины было явно маловато и он даже не стал бы нагибаться, чтобы

поднять всё это старьё, но мельком заметил сквозь мрачные и ржавые потёки на тусклом холсте какие-то нарисованные мачты, тут же вспомнил недавние расспросы сына об устройстве старинных парусников и решил захватить картинку с собой.

Уже стемнело, когда он снял с огня плиты кастрюлю с только что сварившейся картошкой.

– Давай-ка поедим, сынок!

– Давай!

Кит с готовностью вскочил с пола, отодвинув в сторону кучу смешных корабликов с бумажными парусами.

– А что ещё было интересного сегодня у тебя на работе?

– В доме на углу молочник с женой бидонами дрались. Полицейский приходил их разнимать. Ещё старый священник вчера умер, а с утра в их доме как раз лопнула труба, пришлось мне отключать всем ненадолго воду. Забот у близких этого священника и так случилось много, а тут ещё одна добавилась, бестолковая, – таскать ведрами воду из соседней кочегарки. Я потом им немного помог... На, вот, держи, это тебе.

Он достал из своей рабочей сумки маленькую картину.

– Здесь какое-то судёнышко нарисовано, правда, его плохо видно, грязноватая картинка-то, но ничего, мы с тобой сейчас её тряпочкой с олифой немного протрём, заблестит она у нас, как новенькая... Ты, малыш, сам с этим справишься?

– Конечно, приятель, клянусь диким буйволом!

Кит ловко щёлкнул пальцами.

С улыбкой отвернувшись, чтобы аккуратно снять в углу свою грубую куртку, он потёр под чёрной повязкой искалеченную глазницу, слишком долго вынимая случайно попавшую туда пыльную соринку.

Последние предзимние дни отметились первым снегом.

Выходя по утрам из подвала, он внимательно замечал за собой чёрные следы своих башмаков на тёплой пока ещё, но уже покрытой белым голый земле.

Как-то ему передали, что его ищет управляющий.

Он радостно вздохнул, ожидая только хорошей работы, и не ошибся: в одном из особняков за рекой нужно было срочно исправить отопление.

Дело было привычное, нужных инструментов хватило, да и приоделся он по этому случаю чище, чем в обычные дни.

Всё время, пока он крепил на место тщательно отремонтированный участок трубы, молчаливая экономка стояла за его спиной, а потом, когда

он собрал свою сумку и принялся вытирать руки, она так же без лишних слов протянула ему деньги.

– Спасибо.

– Что ещё? – строгая женщина нахмурилась, заметив, что он медлит.

– Извините, но ваши картины...

– Нет, нет! Нельзя! Эти картины очень дорогие, уходите!

Он пожал плечами, застегнул куртку.

– Что такое, Эльза? Почему такой шум?

Из дальней комнаты к ним неслышными шагами вышел высокий седой господин в красивом халате с кистями.

– Он...

– Я просто хотел посмотреть ваши картины. Вот эти, с морем.

– Вы что, бывший моряк?

– Нет... – он смутился, не желая привычного ответа, – так считает мой сын, но я ни разу не видел ни моря, ни океанов.

Старик остро посмотрел на него, кашлянул в сухой кулак.

– Ну что ж, смотрите...

Аккуратно ступая по паркету, он прошёл вдоль стен, с грустью рассматривая шторма и тугие белоснежные паруса. Около одного полотна остановился, изучая картину дольше остальных, и хозяин посчитал необходимым приблизиться к нему с вынужденно вежливым вопросом.

– Интересно?

– Да. У меня есть такая же, похожая, только маленькая и грязная. Без рамки, не как все ваши... И корабль такой же, как здесь, и скалы как эти, и солнце.

– Бросьте, этого не может быть!

Старик взволнованно задышал, выпятив враз затвердевшую губу.

– Вы лжёте, милейший! Таких картин больше нет ни у кого! Я точно знаю, я посвятил творчеству этого художника всю мою жизнь! В вашей камерке наверняка висит какая-нибудь дешёвая бумажная картинка, и вы напрасно гордитесь ей, как настоящей!

– Конечно, конечно, я же не спорю!

Он, сожалея о том, что так значительно расстроил старика, несколько раз поклонился, пятясь к дверям. Но вспомнил кое-что и остановился.

– Да, она старая и грязная, но на обороте у неё есть вот такой знак...

В растерянности он обернулся в поисках карандаша, понял, что ему сейчас откажут во всём, твёрдо взял у горничной, стоявшей рядом с ним в прихожей, провожая, маленький блестящий поднос из полированного серебра, коротко выдохнул на него и одним движением нарисовал пальцем на получившемся ровном тумане простой вензель из двух букв.

– Вот...

Охнув, старик схватился за сердце и, ощупывая дрожащей рукой стену за собой, присел в кресло.

– Если вам это так важно, то я могу эту картинку сейчас принести...

– Стой! Ни в коем случае! Её нельзя просто так носить по улицам! Мы немедленно едем к вам! Где вы живёте?! Эльза, быстрее подайте моё пальто!

С утра взволнованный предстоящей хорошей работой, он и не заметил, как сильно за ночь подморозило.

Они быстро перешли городской мост, старик позабыл надеть шляпу и шёл, подпрыгивая, рядом с ним широкими шагами, размахивая тростью.

На краю пустынной рабочей дороги ровной цепочкой сидели десятка два ворон, склёвывая пунктир замёрзших жирных клякс, оставленных проехавшей на рассвете ранней помойной машиной.

– Милейший, вы просто не знаете... Это же безумие! Такой пейзаж! На моей картине – гавань Череминго! Все этюды и наброски этой картины считаются утраченными! Невозможная новость, невозможная...

– Они дорогие, ну, наброски-то эти?

Старик остановился, задохнувшись в возмущении морозным воздухом.

– Да за такую картину, какую нашли вы, если она вдруг окажется настоящей, вам могут заплатить столько денег, что хватит вылечить от безумия половину нашего глупого мира!

Он мог бы стать хорошим морским штурманом: правильно вычислил и падающие в нужный час лучи южного солнца, и высокий мыс, и большую рощу на дальней скале.

По карте он определил ближайшую к чужому городу небольшую остановку, и они с сыном вышли из поезда заранее.

Между станционными рельсами по жаркой угольной крошке метался заблудившийся черный лягушонок.

Он поправил на плече поскрипывающую новенькими ремнями кожаную походную сумку, опустился на колено и, бережно подхватив лягушонка в большую ладонь, выпустил того в низкую траву на обочине.

Сухая степь ослепила их двоих ровным простором и непривычно густым запахом трав.

Растерянно улыбаясь, Кит часто вытирал слабой ладошкой потный лоб и оглядывался.

– Выдержишь? Если что – говори, не стесняйся, возьму на плечо.

Он сам шёл коротко, примеряясь к маленьким шагам Кита. В душе его бушевал неслышимый торжествующий крик. Стараясь не разрыдаться до срока, он стискивал зубы.

С обрыва открылась широкая синяя ткань моря. Внизу, чуть вдалеке, раскинулся белый город.

От внезапности увиденного прочно захватило дух, но молчать долго у них никак не получилось.

Изо всех сил закричал маленький Кит.

– Папа, папа! Смотри, это же наша картина!

Да, действительно, он рассчитал всё правильно и точно: и высокий мыс, и большую рощу на дальней скале...

Кит с жадным восторгом смотрел на блестящее море.

Влажный лоб, сияющие глаза, потная ладошка ослабела в сильной руке отца.

– Папа, а ты здесь снова будешь работать пиратом?

Он усмехнулся, пожал плечами. Они замолчали.

Примерно через час пути он остановил смуглого чабана, первого встреченного ими на прибрежной тропе местного человека.

– Скажи-ка, приятель, – он лукаво взглянул на притихшего сына, – а где тут у вас, в Череминго, самая лучшая гостиница?

2013

АВИАТОР И СТРЕКОЗА

Из всех развлечений городского летнего сада Манечка Жукова больше всего любила качели.

Она хохотала, взлетая высоко, упираясь каблуками башмачков в доски, держась прочно за деревянные перила и верёвочные петли, но отнюдь не визжала в воздухе, как непременно делали все её подруги по гимназическому классу, а наоборот, старалась раскачиваться сильно и с удовольствием.

Началом их прогулок в саду всегда были именно качели, и только потом Манечка разрешала подругам увлечь себя, уговорить пойти слушать оркестровую музыку или, по желанию, бежать смотреть приезжую выставку тропических диких животных.

Ближе к вечеру, минуя узорчатые кованые ворота, приличная городская публика растекалась разноцветными компаниями по прозрачным аллеям сада в направлениях кондитерских павильонов, к бильярдной, к небольшому лодочному причалу, прятавшемуся под заросшим сиренями и черёмухой берегом маленького пруда.

Музыка, если Манечке с подругами доводилось расположиться поблизости от той самой крытой веранды, была громкой и уверенной, но все произведения казались одинаковыми и быстро утомляли. Оркестр местной пожарной команды составлял гордость их городка, поэтому важные и усаые музыканты играли всегда ответственно, не жалея сил, а в начале сумерек, подчиняясь сигналу колокола с расположенной поблизости пожарной каланчи, быстро собирали свои блестящие инструменты и уходили в часть чаёвничать.

Иногда девушки, вдоволь наслушавшись могучих геликонов и валторн, дружно, поблескивая озорными взглядами, уговаривались назавтра идти гулять на большую реку, на городскую набережную.

На прохладном, просторном речном берегу было всё по-другому.

Тревожное и сладостное настроение делало их дыхание частым, но приходилось быть постоянно настороже, потому что гимназическое начальство не одобряло прогулок в таком месте, где шумели громкими компаниями и гарнизонные офицеры и те, кто бывал в их городке ненадолго, проездом; где звенели гитарами энтузиасты местного телеграфного общества, да дерзко, вразвалку, ходили среди чистой публики задиристые матросы с пассажирских пароходов и грузовых барж, жаркой летней порой в изобилии стоявших около городских причалов.

В семейных разговорах пожилые люди иногда, отворачиваясь от детей, упоминали ещё и Откос, таинственное опасное место за городом, тоже на большой реке, где, судя по проклятиям старух, к зарослям густых кустов постоянно приставали большие лодки с вином, с дурными компаниями и куда на песчаный берег специально увозили из города невоспитанных барышень суетливые кавалеры. Там же, на Откосе, по общему мнению, торговали краденым добром проезжие цыгане, скрывались душегубы и беглые каторжники.

Смелая и решительная Манечка всегда смеялась над такими предостережениями, а в вечерних прогулках со своими подругами была беззаботна и спокойна.

Её матушка, вдова горного инженера Ирина Анатольевна, нарадоваться не могла на дочку, не докучала своей Манечке душещипательными и поучительными разговорами, всецело полагаясь на её мнение и разум, занималась домашним хозяйством, ухаживая за маленьким уютным домиком и садом, и потихоньку серьёзно болела, скрывая от дочери свой скорый уход.

Любой заинтересованный посторонний взгляд выделил бы Манечку Жукову из толпы её весёлых подруг.

Она, конечно, тоже, как и прочие, была весела и говорлива, часто вска-

кивала с места, начинала напевать и кружиться в каком-нибудь случайном танце, за что её и прозвали «стрекозой», но твёрдый характер, доставшийся в наследство от образованного папеньки, уверенная стать, строгие брови и прямые светлые волосы, убранные в роскошные косы, отстраняли Манечку от многого такого, что в их круте казалось привычным и обыденным.

На канун Вербного воскресенья девушки уговорились сообща нанять извозчика и поехать на пригородное скаковое поле, где располагался аэродром товарищества «Сокол».

– В те дни там будут новые интересные люди, авиаторы, даже из столицы, даже иностранцы! Уверяю вас, мои милые! Мне такое по секрету сообщил мой кузен, а у него всегда самые верные сведения относительно предстоящих событий!

Одна из подруг в восторге закатила глазки, другие захихикали, зашумели в перерыве занятий, бегая по простору своей классной комнаты.

В солнечном холоде весенних берёзовых рощ терялось отрывистое потрескивание моторов, совсем близко от трибун топорщились блестящими проволоками и перкалем крыльев удивительно непривычные взгляду конструкции летательных аппаратов.

– Где французский гаечный ключ?! Принесите, милейший, мне инструмент! Поскорее, скоро же старт!

Странные люди суетились у дверей большого сарая, выкатывая оттуда, из темноты, очередной аэроплан.

– Это «Блерио»?

– Нет, что вы?! Типичный «Фарман»! Я «Фарман» всегда по крылу узнаю, у него совершенно иное устройство укосин!

Многочисленные зрители, городские обыватели, преимущественно мужчины солидного возраста, с оживлением обсуждали технические новации и возможности представленных в этот раз воздушных машин.

Выбирая выгодный ракурс, твёрже устанавливали свои треноги фотографы, рысцой бегали вокруг знаменитостей репортёры.

– Получилось, не беспокойся! Струбиной зажал, два взлёта шасси выдержит. Уверен!

Высокий молодой человек, в грязном, замасленном рабочем костюме, в испачканных весенней глиной сапогах, ловко подтянувшись на колёсной поперечине, вылез из-под новенького, ярко-жёлтого летательного аппарата.

– Это кто же такой? Столичный?

В отдалении господин в калошах наклонился к своему спутнику.

– Что вы, помилуйте?! Это же наш, приезжий инженер! На Рождество в городе объявился, живёт в меблированных комнатах, работает в механических мастерских по кузнечной части. Конструкция его собственная, привёз чертежи из Гатчины, аппарат собрал уже здесь, с помощью добровольцев.

– Действительно?! Забавно, самоучка, да ещё из Гатчины... Ну, ну, посмотрим, на что он годится...

Молодой авиатор, на которого обратили внимание серьёзные господа, совсем недавно, всего лишь несколько месяцев, как приехал в их городок.

Александр Венгер, выпускник Николаевской инженерной академии в Санкт-Петербурге, успевший в самом начале года закончить обучение в Авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы, был вынужден, по настоянию столичных властей, на некоторое время уехать в тихую провинцию.

Причины тому были значительные.

С переездом круг знакомств Александра радикально изменился, и ему милостиво разрешили продолжить занятия любимой авиацией, чему он и отдавал большую часть своего времени.

Работа в мастерских, где он с радостью и с удовольствием, уходя от прежних забот и неприятностей, принял участие в организации прогрессивных производств, была интересна; аппарат, который он строил с помощью энтузиастов и наёмных мастеровых, выходил правильным, стройным и красивым.

Вечерами же, охотно принятый сразу в нескольких городских компаниях, он азартно играл в карты, кутил в ресторане «Мадрид», ездил с новыми знакомыми по гостям и на различные семейные торжества, которыми провинция всегда была так богата.

Никто не знал, даже не мог догадываться, что было на душе Александра Венгера. Его родные, после произошедшего с ним в столице, хотели бы заставить его жить серо и нудно, привычной для многих, и оттого совсем неинтересной, жизнью и делать обычное для остальных дело.

Нужно было терпеть, и он просто терпел.

Прищурившись от яркого весеннего солнца, Александр притопнул ногами, бесполезно отряхивая грязь с тяжёлых сапог, вытер рукавом пот со лба и, не успев даже толком осмотреться по сторонам, молча уставился на Манечку, которая так же без слов смотрела на него своими пронзительными серыми глазищами.

– Интересуетесь, барышня?! Вы уж поаккуратней будьте около техники, не случилось бы чего ненароком!

– А как вас звать?

Манечка была весьма упрямой и решительной особой.

– Меня? Александр Владимирович.

– Это по-настоящему, правда?

Авиатор расхохотался, продолжая вытирать руки замасленной тряпичей.

– А по мне, так вы и есть самая настоящая! Как же звать вас, красавица?

– Манечка.

– То есть, Мария?

– Да.

– По какой причине, Мария, сюда приехать соизволили?

– Интересно. А вы настоящий авиатор?

– Да.

– А я могу с вами полететь?

Манечка смотрела на Александра ничуть не кокетничая, не заискивая, а требовательно, сдвинув строгие брови.

Авиатор расхохотался.

– Ничуть! Даже и не думайте о таком, барышня! Выдумали тоже!

До конца соревновательного дня Манечка с замиранием сердца, разрумянившись, наблюдала за полётами.

Весенний солнечный ветерок был свеж, развеивал разноцветные флаги на стартовой линии, сносил боком поочерёдно приземляющиеся на малой скорости лёгкие «Блерио», «Райты» и «Вуазены», но Манечка не замечала неудобств и ахала, когда воздушные потоки слишком уж сильно, на её взгляд, качали в высоте ярко-жёлтый аэроплан.

Подруги, быстро соскучившись не совсем понятным им техническим зрелищем и приглашая с собой, уехали в город, а Манечка всё замирала и замирала, тревожась о знакомом ей авиаторе.

К вечеру, когда полёты закончились, Александр Владимирович, бодро выскочив из сдвоенной кабины, махнул ей рукой.

– Мария, вы меня подождёте?! Я сейчас распоряжусь, чтобы аппарат закатывали в ангар, и быстро умоюсь. И довезу вас домой, согласны?

– Да.

Конечно же, Манечка была согласна.

По пути, кликнув извозчика, Александр Владимирович весело расспрашивал Манечку о её жизни, рассказал и то, что считал возможным, о себе.

Как он, по настоянию родителей, некоторое время учился на юридиче-

ском факультете Мюнхенского университета; как рассорился с отцом, не желая заниматься нелюбимыми скучными науками; про то, как окончил офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка, как стал летать, как придумал свою конструкцию биплана с местами для двух человек – ученика и инструктора-авиатора.

– Так вы же можете с собой в полёт ученика брать?!

– Могу. Но вас не возьму.

– Почему это так?!

– Потому что вы, Манечка, красивая. Очень.

В городе Александр Владимирович, как и было обещано, подвёз Манечку к самому её дому.

– Горячего чаю не хотите? Не простынете? Сейчас самая пора чай пить – вы же весь день на холоде были?! И матушка моя будет рада, я ей столько про вас рассказать хочу!

Не сходя с экипажа, молодой человек покачал головой.

– Вы прелестны, Манечка! Но в гости... Нет, не надо, спасибо. Потом.

Весна отзвенела стремительно.

Июньскими вечерами в городском саду их теперь видели всегда вместе.

На любимых качелях Манечка каталась уже только с ним, со своим Сашенькой, у неё страсть как хорошо получалось учить его раскачиваться дружными движениями, замирая в высоте, сквозь ресницы наблюдая напротив себя такое милое, мужественное, улыбающееся лицо.

Как-то незаметно и тактично Манечка всё-таки познакомила застенчивого авиатора с матушкой, Ириной Анатольевной, им хорошо было втроём проводить тёплые, задумчивые вечера в тихом домике на окраине.

Матушка забавляла Манечку и Александра Владимировича, когда в их присутствии, после чая, пока звучало пианино, читала в недавних столичных газетах новости.

– ...На Ходынском поле аппарат разбился вдребезги, авиатор отделался ушибами!

Тут Ирина Анатольевна непременно ахала и расстраивалась, Александр успокаивал её, и они все вместе подробно обсуждали подобные происшествия.

С появлением в доме такого приятного и частого гостя матушка заметно оживилась, чаще улыбалась и охотно, вместе с Манечкой, выходила провожать его по окончании ежевечерних визитов.

В один из дней Манечка и Александр Владимирович, не уговариваясь и не сказав ничего Ирине Анатольевне, вместе летали на жёлтом аппарате, участвуя в губернских соревнованиях.

Однажды, поздно вечером возвращаясь по сумеречной улице из механических мастерских, неподалёку от гостиницы Александр Владимирович столкнулся с каким-то неловким, незнакомым человеком, а примерно через час в дверь его квартиры постучали.

– ...Ты пойми, Александр, каждый просвещённый человек должен жить протестом против нудной обыденщины! Нужно быть упоённым борьбой и риском! Ты же поддерживал наше движение всегда, что тебе стоит и сейчас принять самое активное и непосредственное участие в инициативе товарищей, а?!

Тощий, чёрный господин нервно расхаживал по небольшой гостиной.

– Сейчас нам нужны твои умения, твоя готовность. Ты единственный, кто это сможет сделать! Открытие ярмарки – через десять дней. У нас есть верные сведения, что премьер-министр обязательно будет в вашем городе! Империю нужно освобождать от такого человека, он душит наши свободы, он не даёт возможности проявить себя многим разумным гражданам! Только его физическая гибель позволит России успешно двигаться дальше! Милый Саша...

Господин отвёл в сторону тлеющую папироску, наклонился к плечу Александра Владимировича.

– ...Ты сможешь, ты обязан это сделать. Динамит в бельеовой коробке курьер привезёт за день до акта, ты возьмёшь его в полёт, сбросишь на правительственную трибуну. В пяти верстах от скакового поля, на тракте, тебя встретят наши люди. Получишь одежду, новые документы и к концу недели будешь в Мюнхене! Условленные деньги тебе передадут уже там. Ну, оставь же свои меланхолии! Давай, наливай коньячку! За встречу, за успех!

– Я не могу это сделать. Не буду.

Александр сбросил с плеча руку чёрного господина, резко встал со стула и подошёл к окну.

– Нет. Я уже не буду участвовать в ваших мероприятиях. Так и передай другим.

Тишина обняла оранжевый абажур.

– Та-ак... Не новость. Многие тоже думали, что могут в своей жизни что-то решать сами, без партийной дисциплины. Но мы же не черносотенцы, Саша, мы не кричим, мы действуем... А ещё – заранее думаем. Так что твоё решение не является неожиданным для меня. Поэтому...

Господин, трудно опираясь на тросточку, встал в крут света у стола, жёстко ткнул папироску в пепельницу.

– Если ты будешь продолжать упрямиться и не выполнишь то, о чём мы тебя просим, то отвечать за твои капризы будут весьма близкие тебе люди. Тише, стой на месте!

Александр рванул было к господину, но два молодых, плечистых и серых лицами татарина, до сих пор молчаливо стоявшие у дверей, сделали по шагу вперёд, одинаково вытащив из-за поясов по ножу.

– Вот, уже хорошо. Слушай меня спокойно и запоминай внимательно. Если ты сорвёшь выполнение нашего теракта на выставке, то волен затем делать что хочешь. Уезжай в дальние места, скрывайся, лезь сам в петлю, живи, если сможешь, счастливо, но твою светленькую Манечку эти вот господа назавтра же отвезут на Откос и сделают с ней там такое... Сделают такое, после чего она тебя никогда не сможет узнать, да и никого другого из приличных людей тоже. А потом её отдадут в грязный румынский табор, который скоро уйдёт из вашего города в неизвестность. Матушку же твоей ненаглядной Манечки в один момент поднимут на ножи другие люди, или вот эти же, не знаю... Так что, Александр, выбор за тобой. Курьер с грузом будет вовремя, прими его по-товарищески.

За два дня до открытия выставки, когда была объявлена программа торжественного государственного приёма и на собрании в товариществе «Сокол» распорядитель зачитал список авиаторов, определённых к полётам в присутствии высочайших гостей, Манечка поссорилась с Александром Владимировичем.

– Ты же обещал взять меня в полёт! Ты некрасиво поступаешь, меня своё решение! И ведь без причин, без объяснений!..

Авиатор стоял перед Манечкой, бледный, перекурчивая в руках кепи.

– Последний раз спрашиваю – не возьмёшь?!

– Нет.

– Ну и ладно!

Перед самым взлётом ярко-жёлтого биплана в его двоящую кабину, вместо запланированного поначалу пассажира, для уравнивания, положили большую, плетёную из ивовых прутьев, крепко закрытую корзину с балластом.

Рыкнул мотор, механики крутнули лопасти пропеллера, и летательный аппарат, подпрыгивая на неровностях земляного поля, взмыл в синее небо.

Два круга вокруг трибун он сделал быстро, за считанные минуты, затем, помедлив на развороте, вышел на прямую, уходя к ближайшему берёзовому лесу, грустно покачал крыльями и исчез в густом, коричнево-блестящем дымном облаке.

Раздался гулкий, как будто вверху, в самом зените, лопнуло что-то тугое, взрыв.

Из дыма посыпались, долго падая на землю, многочисленные щепки, тряпичные лохмотья и безобразно скрученные проволоки.

Совсем скоро после произошедшего в город из Санкт-Петербурга приехал генерал, отец Александра Владимировича, посетил Манечку и её матушку.

– Сын оставил для меня письмо, в котором просил, если с ним что трагическое случится, принять участие в вашей судьбе, барышня, называл вас невестой...

Но Манечка тогда промолчала и ушла в дальнюю комнату.

А что до качелей, то до самого конца своей ясной и ровной жизни Манечка так больше и не коснулась их. Они казались ей ненадежными, неверными и обманчивыми.

2015

Александр Акимов

ОСЕННИЙ АЛЬБОМ

* * *

Исчез азарт, но не настолько, чтобы
Красивой женщине не обернуться вслед,
И запах позабыть вчерашней сдобы,
И вкус своих сомнительных побед.

Вчерашний день - он стал для сердца ближе,
Чем даже суть сегодняшнего дня,
И выпитого градус не понижен,
И песни старые еще в башке звенят.

МОСКВА 50-х ГОДОВ

1

Я вырос на тихой улице,
Такой же старой, как город.
Она поворотами крутится,
Как плохо отглаженный ворот.

И нет здесь домов похожих,
Обиженно храмы молчат,
И громко шаги прохожих
В ночной тишине звучат.

Здесь тополь, цветущий в мае,
Предания детства хранит,
А Яуза - речка немая -
Еще не одета в гранит...

2

Люблю в Лефортово мосточки,
Они горбаты и пусты,
И тополиные листочки
Пленяют голые кусты.

Стихает город окаянный,
Как жить теперь в нем, не пойму...
Вот здесь был мостик деревянный,
Я бегал в школу по нему.

Шатались старые ступени
Во всех немыслимых местах,
И охлаждал мои колени
Непредсказуемого страх,

А посредине, как нарочно,
Была проломана доска.
В проломе странно и тревожно
Текла угрюмая река.

И чайки глупые отважно
Хватали что-нибудь с воды.
Презервативы плыли важно
Среди дерьма, без суеты.

Не видно в Яузе уклейки,
Над ней вонючая вуаль.
Мужик какой-то в телогрейке
Сачком вылавливал "хрусталь".

Брал из-под водки, из-под пива -
Приемный пункт невдалеке.
Сдавал авоськами, счастливый,
Шел похмеляться налегке.

А я по набережной бойко
Бежал - пальтишко наразлет,

Сегодня я держался стойко,
Бог даст и завтра повезет.

* * *

Жизнь отцвела, об этом я не плачу.
Так жарким летом отцветает луг,
И не ругают собственную клячу,
Уже с трудом волочашую плуг.

И с каждым днем сужается пространство,
Его отчетливей становится предел,
Где места нет для лени и для пьянства,
Для суетных и бестолковых дел...

* * *

В России есть чудесные места
Вне времени теперь, вне расстояний,
Способные разжечь, как береста,
В твоей душе огонь воспоминаний.

И невещественным горит огнем,
Что было позже или что сначала...
Ты вспомнишь даже малое и в нем
Своей судьбы далекое начало.

Ты вспомнишь, что когда-то утекло,
Разбилось что, как хрупкое стекло,
Застолья шум и тихий дом у речки...
Родных людей, истории, словечки...
И ощутишь блаженное тепло
Протопленной еще недавно печки...

ОСЕННИЙ АЛЬБОМ

Вот осенний альбом: желтых красок завеса,
В них зеленый и красный добавлен букет,
И размыты дождем очертания леса.
Встроен этот пейзаж в мой оконный багет.

Дама лета, увы, дамой осени бита,
И исчезли и страсть, и азарт - ну и пусть...
Я стою у окна, мое сердце открыто
И вбирает осеннюю тихую грусть.

* * *

Убрали хлеб, закончились покосы,
И нет да нет, а замечаешь ты,
Как желтый цвет вплетает осень в косы,
И лес теряет первые листья.

Туманом полнятся низины и овражки,
И проступают контуры стогов.
Ночами стало холодно в рубашке
С девицами гулять до петухов.

Еще на сердце легкая беспечность,
И нет уныния осеннего в груди.
Кукушка лету нагадала вечность,
К тому же бабье лето впереди.

* * *

Погасли яркие люпины,
На землю бросив семена,
Но, споря с кленом у окна,
В лесу зажглись огнем рябины.

Легко рябинам и вольготно
Светить с зари и до зари.

Их ягоды в мороз охотно
Склюют лихие снегири.

Так красный цвет не растворится
В утробе снежных упырей -
Огонь рябин переместится
На грудь беспечных снегирей.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Ушла из жизни молодая красивая женщина – врач по профессии, поэтесса по складу души, хозяйка теплого ухоженного дома, любящая жена и наша подруга по эмиграции – Марина Авербух. Большая модница, всегда нарядная. Сырниками своими знаменитыми весь подъезд кормила, стихи хорошо читала. Да что там представлять, все наши эмигранты ее прекрасно знали. И ушла как-то вдруг, «по-английски», «не в свою очередь». Что-то там, в небесной канцелярии, переклинило.

После Марины остались не только стихи, но и проза. Сегодня мы знакомим вас с двумя мемуарными зарисовками – из ее детства и из начала ее работы врачом-офтальмологом. Эти воспоминания очень узнаваемы для людей нашего поколения. Практически у всех были в детстве свои любимые Загорянки и Перхушковы. И практически все с любопытством и старанием начинали свою первую работу в многочисленных НИИ, КБ, школах и районных поликлиниках, куда приходили по распределению после институты.

По словам Иосифа Бродского, смерть – это то, что случается с другими. Казалось, нашему поколению эмигрантов еще жить да жить, другие варианты даже не рассматривались. И всегда видеть те же самые лица то в Русском доме, то у Светы Агроник на Фазанке, то еще где-то, где привечают в Берлине поэтические кружки и дают бесплатное пристанище. Но нет, дрогнуло и наше поколение, – где теперь Миша Верник, где Люба Рейнгац, где Марина Авербух? Не знаем, – это ведь всегда случается только с другими

Марина Науёкс

Марина Авербух

ЗАГОРЯНКА

Хорошо-то как! Тёплая весна. Только апрель, – а почти, как лето! Все – на дачу! В нашу любимую и несравненную Загорянку! В этой Загорянке прошло всё моё летнее детство.

Еду на дачу на электричке с бабушкиной корзинкой, везу в ней вязанье, начатое ещё прошлой осенью, да так и не законченное. А среди клубков обнаружили несколько, тоже прошлогодних, конфеток. Я всегда брала их с собой на случай неожиданного знакомства с симпатичной (не старше пяти лет!) попутчицей, как и я, любительницей дорожной попутной болтовни. «А вы знаете...» – Так всегда начиналось наше общение, а под конфеты оно шло ещё веселее.

Электричка трогается почти всегда чуть-чуть неожиданно; медленно уплывают назад провожающие или опоздавшие... Машинист деловито сообщает о предстоящих остановках, без особого успеха предлагает уступить места инвалидам и пожилым. Всё, как всегда. За окном позеленело – поплыли подмосковные рощи, дачные сады.

Вот и мороженое на руках усталой (по поездкам уже часов пять!) женщины в ватнике с накинутым поверх серо-белым халатом. Из сумки-холодильника и мне сейчас должно достаться любимое эскимо. Нет, эскимо уже закончилось, но появился вафельный стаканчик, из которого, приподнимая круглую бумажку, выглядывает бело-розовая мордочка сливочной вкуснятины, обжигаящей язык и согревающей душу. Как будто откусил кусочек облака.

Неспешно, как на загодя подготовленные вражеские позиции, прошла группа многодетных цыган. Увидев моё мороженое, от компании ко мне устремился пятилетний цыганёнок. Быстро выбрав меня как объект морального насилия, уставился глазёнками на мой недоеденный стаканчик и потребовал поделиться, – то есть отдать ему, и отдать немедленно, пока в стаканчике что-то осталось: «Дай, тётка!» А пока я, дура сентиментальная, лезла в корзинку за конфеткой, пацан выхватил стаканчик и, въедаясь в лакомство, побежал догонять своих.

Чуть насмешливо, но одновременно не без ласки, на меня смотрит старенькая, неоднократно встречаемая на дачной тропе бывшая артистка Малого театра. (В Валентиновке – дачный посёлок артистов.) Поздоровались глазами и слегка раскланялись. Ей приятно «внимание народа», да и мне тепло.

А вот и моя Загорянка. Топ-топ, скрип-скрип, – вздыхает радостно деревянная платформа. И я радуюсь, вдыхая смесь ещё зимнего и немного прогретого весеннего воздуха. А ведь скоро уж и сирень вспыхнет белыми и лиловыми факелами. На станционном базарчике – только зимние угощенья: квашеная капуста десяти сортов, солёные огурчики-гиганты и корнишончики; яйца из-под загорянских курочек и сметана-творог у местного владельца двух коров. Творог от них --маслянистый, с желтинкой, слоистый – словно пирожное «Наполеон». Закупаюсь в основном из солидарности и для поддержания добрососедских отношений: все же много лет свои, а некоторых я даже уже успела полечить. («А у нас на улице свой доктор!») Время подмосковной молодой картошки ещё не подошло, поэтому пришлось купить её у заезжего красавца «кавказской национальности». Всё – таки в брюнетах столько мужского шарма!!!

Всё! В корзинку больше ничего не помещается, да и руки – не казённые. А идти не так уж и близко, особенно с поклажей. Наша улица Глинки – на отшибе. Раньше, при бабушке, она была почти на окраине Загорянки, а ещё раньше – до Советской власти – называлась Еврейский тупичок. Но затем нарезали новые земельные участки – для новых жителей. Теперь стоит даже дача известного полярника Толстикова (самого-то мы не видали, а сестра его здесь и жила).

«Перестройка» и «прихватизация» преобразили архитектуру не только «Еврейского тупичка», но и всей Загорянки... Появились высоченные – в 3-4 метра дощатые сплошные заборы, вскоре заменённые на кирпичные ограды с видеокameraми; башенки на подростках домах; добротные, спаренные гаражи и даже бассейны с голубой водой.

А на нашей улице Глинки обнаружилось совсем уж неожиданное, просто потрясающее архитектурное нововведение. В самом начале бывшего «Еврейского тупичка», у самого забора нашего давнего знакомого Масея Шлёмовича Трахтенберга выросла православная часовенка. В Прикарпатье такие придорожные сооружения, очень уважаемые местным, в основном, правда, католическим, населением и всеми пришлыми, называют капличками. Вот и эта персональная часовенка товарища Трахтенберга была изготовлена на манер каплички – добротный столб, высотой метра в два, венчала как бы избушка без передней стенки. В глубине избушки была укреплена, как и положено, в стеклянном ларце,

православная икона. Масей Шлёмович выбрал икону Николая-угодника – покровителя увечных и настигнутых различными карами, в том числе и юридического характера. В этом его деянии можно было усмотреть справедливое, но уж очень запоздалое раскаяние.

Долгие десятилетия Масей Шлёмович был грозой всех соседей (думаю, что не только в Загорянке). Появился он у нас в 50-ые годы, когда под его руководством – оперуполномоченного капитана МВД – проводился новый передел дачной территории. Как и было принято в сталинские времена, наиболее доступным, если не любимым, средством улаживания спорных дел был донос. По такому вот доносу был арестован и мой дед. А следствие по его делу вёл именно товарищ капитан Трахтенберг. После месячной отсидки в КПЗ дедушка вернулся домой – целый, но осунувшийся. А половину дома нашего родственника Якова Ханина занял не кто иной, как Трахтенберг.

Назвав своего дядю Яшу, я тут же вспомнила всех его друзей, из которых самым интересным был, конечно, Леонид Осипович Утёсов. Ничего удивительного! Яша Ханин был ведущим трубачом-солистом знаменитого утёсовского джаз-оркестра.

Высокий, с пышной шевелюрой, улыбчивый, – сама энергия и жизнелюбие. Яша всегда окружал себя хороводом девиц (исключительно русскими и исключительно блондинками).

Нередко его кофейного цвета «Победа» заезжала под вечер в наш тупичок и до утра отдыхала напротив его половины дачи, практически напротив дома деда. Лишь перманентные женитьбы дяди Яши вносили некоторое успокоение в его ритм дачной жизни. Да еще гастроли по Союзу и отъезды в свой, ставший родным, Ленинград.

Но во все московские гастроли Утёсова сам Леонид Осипович и его друзья-трубачи обязательно наносили визит моей бабушке. Это было зрелище в стиле лучших трофейных фильмов 50-ых годов.

«Победа» останавливалась уже на правой стороне улицы, напротив нашего дома.

Из неё бодро, чуть не строем, с хохотом и шутками высаживались стройные красавцы в кожаных (почти до пят) пальто, в лихо заломленных шляпах, с охупками цветов, с сумками, звенящими от бутылок с коньяком.

Последним – под внимательным и уважительными взглядами всех обитателей и нашей дачи и многих соседних – из машины не без величавости и шутилой торжественности выходил сам Мэтр!

Он тоже, как и молодёжь, носил кожаный плащ и столь же лихо заломленную шляпу. Торжественный поцелуй с бабушкой – вначале целовал ручку, потом объятия и родственные поцелуи сердечных многолетних друзей.

Иду дальше.

Справа, с самого поворота на нашу улицу Глинки выглядывает из-за солидного глухого забора огромный – трёхэтажный «новорусский» особняк Сашки Александрова. «Стану богаче всех вас!» – сказал он нам ещё в школьные годы. Тогда его мама – тётя Дуся, а теперь, конечно, Евдокия Евлампиевна – держала корову-голландку. Эта корова поила своим вкуснейшим молочком всю ребятню нашего тупичка и была единственной кормилицей небогатой малочисленной семьи тёти Дуси.

Сын её Сашка был застенчивым, если не сказать пришибленным мальчиком. Без особого и настойчивого приглашения он не играл с нами – дачниками. То ли это гордыня пополам с чванством, то ли робость затюканного трудовой жизнью русского человека, извечно робеющего перед «образованными» горожанами.

Над родом Евдокии и Сашки довлел какой-то затяжной наследственный рок – матери не любили своих дочерей. Поедом их ели, и укоряли, и шпыняли и замуж за любимых не пускали. И жили все дочери из этой семьи из поколения в поколение, как падчерицы.

Этот комплекс неполноценности почему-то передался Сашке и именно у него вызывал обиду и внутренний протест. Он вырос, разбогател, как и обещал нам в детстве, но покоя так и не обрел.

Постаревшая мать Евдокия Евлампиевна уже и не нуждалась в «молочной пенсии», но коровёнку продолжала держать. И вот тут-то Сашка показал свою удаль. Поставил матери коровник – на зависть всем окружным фермам: с горячей водой, вентиляцией, механической поилкой и уборкой навоза, электросечкой для травы. И даже... с музыкальным центром, постоянно играющим классическую музыку. Все стены коровника обил импортным деревом. На шею бурёнке повесил швейцарский колокольчик 18-го века. В стены вмонтировал зеркала и портреты быков!!

Мы ходили в коровник, как в Дом Культуры, и всё советовали тёте Дусе брать с посетителей деньги за вход и музыку, но не уговорили.

Вот и сейчас иду я мысленно по нашей загорянской улице и слышу из коровника нежное журчание какой-то классической арии. Ну, что же, как пелось из репертуара попроще, – «Мечты сбываются». Ну, и слава богу.

ГЛЯДЯ В ГЛАЗА

(из цикла «Медицинские истории»)

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Москва, конец 90-х. Медицинский центр «Доктор». Кабинет иридодиагностики. Раньше таких кабинетов в СССР вообще не было. Молодая наука, молодая медицинская технология, непонятная не только обывателю, но и большинству практикующих врачей-терапевтов.

Хотя уже не одно столетие опытные врачеватели видят в глазах пациентов не только душу, но и тело – его скорби, его страдания и причины этих страданий.

Как наука иридодиагностика началась с шалости маленького, десятилетнего австро-венгерского графа. Мальчуган резвился в саду, забирался на деревья, разорял гнёзда, сбивая их камнями. И однажды добрался до совиного гнёздышка. Взрослые совы были на своей, совиной, охоте, а «дома» – в гнезде – оставлен был маленький совёнок, крохотный, но уже оперившийся и, конечно, с огромными круглыми желтоватыми глазищами. Мальчик потянул птенчика за когтистую ножку, и она вдруг хрустнула и сломалась.

А далее произошло маленькое чудо. В правом глазу совёнка, на гладком блюдечке радужной оболочки вдруг появилась чёрточка. Она пересекала жёлтое поле слева направо и не исчезала. Мальчик с удивлением рассматривал и взятого (на этот раз очень осторожно) птенца и его правый глаз...

Оба притихли – птенец от боли, а мальчик от удивления и жалости.

Через двадцать лет молодой глазной врач – граф Тетенкофер – описал это своё первое наблюдение – появление на радужной оболочке глаза нового, посттравматического изображения (артефакта).

Сотни наблюдений за радужными оболочками (ирисом) – и животных, и людей – свелись в стройную, хотя и трудно объяснимую, систему иридодиагностики.

ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Мой кабинет – двадцать квадратных метров полезной для чужого здоровья площади. А я – в самом центре этого чужого здоровья и нездоровья.

И окошком в чужой мир – радужка. Фантастическое «биосооружение», почти не имеющее толщины, зато сколько глубины!

Читать и расплетать узоры на радужной поверхности – это стало моим хлебом насущным, иногда и с маслом. С десяти до шестнадцати, с одним выходным в неделю, с постоянными дурацкими вопросами пациентов:

– Доктор! А вы гадаете или как???

– Именно как, – отвечаю особенно надоедливом, уже глядя в свой «телескоп», через который я пробираюсь в бездны чужого горя и надежд.

Вот и сейчас передо мною, с другой стороны моего «телескопа» – то есть моей «щелевой» лампы – уселся, настороженно бодрясь, новый посетитель, не догадывающийся о предстоящем через полчаса переломе своей судьбы.

Как обычно, я приглашаю его сесть поудобнее и прилечь к окуляру. Но пациент упорно хочет поделиться чем-то.

А мне уже многое стало ясно и по его движению от двери к моему столу, и по напряжённой посадке головы, и по настороженному взгляду (кстати, налицо явная «экзофтальмия» (попросту, пучеглазие – свидетельство гиперфункции щитовидки).

– Доктор, я хочу вам рассказать...

– Давайте вначале я посмотрю сама, сама же потом и попытаюсь всё, что увижу и пойму, рассказать вам, а вы уж потом и уточните, если что не так. Рассказываю:

– Родились вы в жарком климате, ну, скажем, таком, в Узбекистане. Жили там лет до 20-ти. Потом стали военным и служили не менее 10-ти лет на подводной лодке. Наверное, и на атомной тоже...

Тут в окуляре взорвалась граната или нечто, напомнившее мне взрыв скороварки, в которой доваривался борщ. На меня уставились (уже поверх окуляров) два разъярённых, сузившихся до щелей, глаза пациента:

– Вы что, уже успели моё секретное досье прочесть? Где вы достали моё личное дело?! Распус-тил вас Горбачёв своей перестройкой. Всех подкупаете. Ничего не боитесь. Медики, тоже мне, нашлись...

Конечно, белый халат несколько защищает врача от хамства пациента, который «всегда прав», но больше спасает предвиденье того, что он будет вилать и извиняться, когда ты ему расскажешь всю историю его заболевания и объяснишь ход лечения. На крик вошёл наш директор – Олег Иванович. Постоял у двери, увидел, что ситуация штатная и под контролем и, успокоенный, вышел.

Терпеливо объясняю, что информация об его прошлом, настоящем и, увы, будущем вычитана мною не в каких-то секретных бумагах, а в радужной оболочке его же глаз.

– Но это же всё абсолютная правда! – Вновь вспыхнул на мгновение пациент. Даже с местом рождения не ошиблись!

– Вот как раз место рождения я назвала наугад. Это могла быть и Туркмения, и Таджикистан, и юг Азербайджана или Армении. Все южане либо потомки южан имеют тёмные глаза (чёрных не бывает вообще, пусть извинят авторы романсов!), баклажанно-коричневого цвета. Именно так окрашены структурные клетки вашего ириса природным красителем меланином, который защищает ирис от солнечного ожога. (Голубоглазые и вообще светлоглазые, с минимальным вкраплением меланина, – обычно северяне или их потомки).

Такой же южанин и вы, уважаемый темноглазый подводник! Наверняка, ваши глаза лет пять-десять назад были темнее. А уже лет через пять от такой вашей производственной жизни они и вовсе посветлеют, поверьте мне на слово.

Но пока что я вам рекомендую, и категорически, пройти обследование у уролога-сексопатолога и сократить, как минимум вдвое, число выкуриваемых пачек сигарет. И пейте теперь, вместо так нещадно потребляемого вами кофе (конечно, растворимого!), успокоительный чай. И всё подкрепите комплексом хороших витаминов всех групп, особенно группы Б. Ваш возраст и немалая изношенность нервной системы этого требуют. До психоневролога пока далеко, но если не будете выполнять мои назначения, он может понадобиться через считанные месяцы.

Пациент слегка смутился, пробормотал извинения за крики и, как человек любознательный, уже не потребовал, но «категорически попросил» объяснить:

– Как это безо всяких анализов и даже вопросов вам удалось нащупать именно те болевые точки, что и привели его сюда, в медицинский центр. Бог с ним – с Узбекистаном. А откуда вам известно, что я подводник? Неужто из цвета глаз?

– Нет, конечно. Приходится учитывать иные ваши признаки, а не только цвет ваших глаз. Ну, скажите сами, какой род военной работы связан с очень длительным, чуть ли не многолетним пребыванием в затемнённом, лишённом солнца месте? Даже шахтёр, отработав свои часы под землёй, возвращается наверх, к естественному солнечному свету. Вы же, еще крепкий, не истощённый мужчина, бледны, как бумага. Это я увидела и безщелевой лампы, пока вы шли от двери кабинета. И даже в своём «праведном гневе» – это я тоже рассмотрела без прибора – вы не смогли «разгореться» до «условно нормальной красноты». Коже вашего лица не хватает того же меланина – биокрасителя, который затемнил вашу радужку в годы раннего детства.

Он слушал внимательно и уважительно, как студент-отличник, собирающийся поступить в аспирантуру.

– Но окончательно всё подтвердилось на приборе. Кроме зернистых тел меланина, покрывающих поверхность радужки, на ней присутствуют так называемые «артефакты» – различной, иногда продолговатой, формы, плоские тела, – подобные линзам или листочкам структурные элементы. Они неподвижно встроены в радужку, обычно мало окрашены, но их число, размеры, форма, цвет, места расположения, группировка – всё это в совокупности характеризует различные патологии, присущие именно вашему организму.

Более того, – их присутствие открывают нам – иридодиагностам, – когда возникла аномалия в вашем организме, как она развивалась и каково её теперешнее состояние. Ваша радужная оболочка указывает также на развитие или тенденцию к возникновению новой, для вас неожиданной, болезни.

Будущий «аспирант» поднял руку для вопроса:

– Значит, вы, доктор, можете предсказать болезнь? Как это вяжется с материализмом?

– А вы можете предсказать, когда и куда прилетит выпущенная вашей подлодкой ракета?

– Но это моя работа! Я за это либо орден, либо выговор получаю, – неожиданно откровенно пробурчал мой больной.

– Вот и я сегодня сначала выговор от директора за ваш крик получу, а потом – не орден, конечно, но свою зарплату.

На том и расстались.

ДРУГОЙ ДЕНЬ

Не стала я рассказывать своему вчерашнему пациенту – подводнику, что же я конкретно увидела на его радужке. Однако там мне открылась грустная история постепенного саморазрушения жизненно важных органов человека.

Я увидела, что в далёком юношестве мой подводник сломал ключицу и страдает от этого до сих пор – около тридцати лет. Примерно к этому же возрасту относится и залеченная теперь без последствий «болезнь Боткина».

На радужке нашего глаза все базовые жизненные органы имеют свои «корпункты». Располагаются они, как цифры на циферблате, по часовой стрелке. Там, где «цифра 12», спрятана (но не от нас, иридодиагностов, конечно) вся история болезни нашей головы, и прежде всего мозга.

А на «3-х часах» левого глаза, например, многие данные о состоянии

нашего сердца. И так по всем цифрам-часам. И между ними, конечно, природа прорисовала условные значки о нашем здоровье.

На пяти-семи часовом интервале видна реальная судьба наших репродуктивных органов и их ближайших соседей. Так, как будто на маленьком глобусе, где помещается вся география планеты, так и на почти плоской радужке отражены ключевые элементы нашего состояния ЧТО, ГДЕ и КОГДА? Чем не искусство гадания!?

Однажды мне предложили две анонимные фотографии радужных оболочек глаз всемирно известных, как потом оказалось, лиц.

На первой из них я увидела радужку человека с очень изношенным организмом, человека, хлебнувшего в своей жизни и хмельного, и сладкого и горького. Изображения в зоне печени были характерны для типичного алкоголика. К тому же явный гастрит желудка и воспаление луковицы двенадцатиперстной кишки. И всё это на фоне повышенной кислотности.

Перенесены венерические заболевания (не исключены и многократные). Явный ревматоидный артрит. А в зоне головного мозга есть знаки, говорящие об очень неустойчивой психике. Характер вспыльчиво-взрывной – видны многочисленные кольцевые структуры, внешне подобные годовым кольцам на спиле дерева. Они говорят о многочисленных отрицательных стрессах. Хотя сейчас организм «объекта -1» и отягощен многими недугами, но у него очень хорошая, по природе, генетика (плотные, правильной формы многоклетья), он (скорее он, чем она) физически и психически от рождения очень вынослив, легко адаптируется к внешней среде. Явно занимался спортом в молодые годы.

На втором фотоснимке ирис характеризует биологически взрослого человека, родившегося очень слабым, с признаками многих возможных недугов, которые не реализовались в болезни, а редуцировались в слабые, несостоявшиеся патологии.

Вся радужка настолько нормальна, настолько гармонична, без каких-либо привычных для моих многих пациентов отклонений, что я смогла охарактеризовать этого человека как абсолютно здорового, предельно уравновешенного, и психически очень сильного.

Клятва Гиппократа запрещает мне обнародовать (даже в таком медицинском контексте) их имена. Намекну лишь, что один из них – известнейший киноартист, а другой – лауреат Нобелевской премии, живущий в изгнании.

Вот раздался нежный стук в дверь, и в кабинет почти неслышно просочилась немолодая дама.

– Доктор! Я вас уже целый час жду! – Заявила она, осторожно присев на краешек предложенного ей стула.

Не глядя на меня, пугливо осматривает кабинет:

– Доктор! Вы последняя из врачей, у которых я ещё не была, – жарким шёпотом доверительно проговорила она, продолжая при этом перебирать свои пальцы, словно разминаясь перед фортепианным концертом.

Настораживаюсь... На улице – жара почти в 30 градусов, а моя клиентка – в зимнем пальто с полувывертым цигейковым воротником.

А на голове – когда-то белая войлочная панамка из курортно-туристского набора. Случайно взглянув вниз, я чуть не ахнула, увидев на босых, давно не мытых ногах пациентки, домашние шлёпанцы.

– Я ходила даже к гадалкам – никто ничего у меня не находит. Мне так страшно. Вы так на меня не смотрите, я нормальная. Это муж у меня отобрал всю одежду и запер. Я его убью, как придёт от своей любовницы! Я всё про него знаю.

Мне голубь утром, как сел на подоконник, так сразу всё и рассказал. Я за ним всё точно записала – и адрес, и дом, и как зовут. Знаете, доктор, – она чуть приподнялась над аппаратом, – Я ведь понимаю голубиный язык, иногда даже не знаю, куда деваться от них, всё в уши кричат. Ходила к «ухо-горло-носу» – ничего не нашли. Сидит там такая толстая, на голове зеркало, а ничего не видит. Ничего. Сняла бы, что ли, своё зеркальце, чего народ дурачить.

Пока весь этот бред доверительно, полужёпотом, проговаривался, я разглядела, что на мочках пациентки висят странные серёжки-прутики – корешки валерианы.

Так вот откуда этот навязчивый запах валерианы, принесшийся вместе с пациенткой! Перехватив мой взгляд, больная (теперь уже ясно и без иридодиагностики – больная!) радостно и громко зашептала:

– Это я сама придумала – вставлять в уши корешки валерьянки. Они же успокаивают. Только кошки стали за мной бегать и мяукать. Зато я сама немного успокоилась, а то голуби всё покоя не дают – полетай с нами да полетай!

– А мы живём на десятом этаже – вдруг не найду обратной дороги и не прилечу на свой подоконник. Я же не голубь всё-таки!

Незаметно для пациентки, хотя глаза её бегают по всем направлениям, я нажимаю спецкнопку и тремя звонками вызываю дежурного дядю Мишу, бывшего санитара психиатрической клиники.

Через пять минут моя пациентка, увидев могучую фигуру нашего Геркулеса, как-то обмякла, в последний раз осмотрела весь кабинет и, взглянув на меня жалобно, тихо и внятно, совсем осмысленно, произнесла:

– Прощайте, дорогой доктор. Мне давно пора уже опять лечь и подлечиться. Спасибо вам за помощь.

Оставшись одна, я вдруг ощутила липкую, плотно обволакивающую усталость. Хорошо, зашла наша дорогая «хожалочка» – тётя Поля!

– Борисовна! Ты чё такая бледная? Счас я кофеёк приволоку, шоколадку погрызёшь, вот и отойдёт.

Пока она ворковала, стукнул кто-то робко в дверь, и в кабинете появился букет бело-лиловых пучков дачной сирени, за которыми пряталось лицо мужа: – Приглашаю всю иридодиагностику на дегустацию вин и пражского пива!

И исчезли все чужие артефакты, болячки и патологии. Осталась наша жизнь. Наша, и только! Хорошо-то как!!!

На этот день у меня более не было записи.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Тема моей не законченной и, тем более, не защищённой диссертации возникла тоже «в недрах радужной оболочки». Я обнаружила (или мне так показалось!?), что наряду с обычными артефактами на поверхности ириса, — откликами на тривиальные дефекты здоровья – возникают сигналы о более тонких взаимодействиях в организме – психофизиологических.

Меланхолия, тревожность, холеричность, экстравагантность, агрессивность и многие иные психические свойства личности пациента оставляют свои следы – специфические артефакты.

В топографии радужки ребёнка я вижу его способность к обучению и могу определить: устроить ли ему показательно – профилактическую родительскую порку, либо скоренько направить прямо к психоневрологу – на коррекцию.

По форме и пропорциям «лакун» – элементов топографии ириса – я обнаруживаю скрытые доминанты психики конкретного человека: агрессию, злобность, покорность. И могу прогнозировать его социальное поведение.

Мой доклад на Втором конгрессе иридодиагностов обогатил меня многочисленными друзьями и новыми противниками моей методики. Пришлось уйти с кафедры и из очной аспирантуры. Тезис о врождённости и малой изменчивости психических свойств не понравился очень многим поклонникам теории Лысенко, и меня быстренько причислили к скрытым «вейсманистам-органистам».

Но грянула перестройка. Распахнулись запретные двери в бизнес – новый и непредсказуемый.

И в одно скучное и безденежное утро меня разбудил доверительный

телефонный голос. Его хозяин представился как сотрудник авторитетной «конторы», уверил меня в детальном знакомстве с моими работами и попросил назначить время для деловых переговоров. Перед встречей я всё-таки порасспросила некоторых из моих информированных приятелей о мистере Икс и об его учреждении – не пахнет ли новое знакомство соучастием в «мокром» криминале?

Меня успокоили, хотя и предупредили о многообразии интересов подобных «товарищей».

Деваться, собственно было некуда, да и некогда

И вот так я вошла в новый мир приложения моих опытов для конкретных задач сколачивания устойчивого и весьма специфического «силового» коллектива. Хорошая аппаратура, отзывчивые коллеги, непривычно высокая зарплата. А задачи были в полном соответствии с жёстким духом первого десятилетия перестройки.

Можно ли доверить оружие данному пациенту? Способен ли пациент к измене? Высок ли уровень амбициозности пациента? Насколько способен данный субъект адаптироваться к быстро изменяющейся ситуации? И даже – возможно ли управление его психикой? И многое подобное.

Я поняла, что меня наняли в специфическую медсанчасть отдела кадров.

Работа была не очень продолжительной – около трёх лет, после чего мне по ряду личных обстоятельств пришлось выехать за рубеж на ПМЖ.

В новой жизни я дописала свою диссертацию, дополнив новыми наблюдениями, отпечатала, переплела и... поставила на самую высокую полку в книжном шкафу. Не навсегда ли?

Андрей Дмитриев

* * *

Сохни, сохни, стебель
для сена у шалаша,
для гербария малыша
в память о зрелом хлебе
и об отцветшем клевере
медленной пасторали,
где всё плывёт по спирали
с криком сонной совы.
Стебель, тебя сорви
раньше срока – не выйдет ни сена,
ни гербария – постепенно
скорчится зелень,
брошенная на землю,
и далее – перегной.
Так что – оставайся живой
сколько сможешь в погоне за солнцем,
которого мало всегда достаётся
каждой отмеренной жизни,
но в том и смысл божьей искры –
вспышка в потоке тьмы.
Стебель, как же родственны мы...
Лови то, что есть,
неси сквозь лето свой крест,
тяни из почвы земное,
из воздуха – то, иное,
небесное, неизъяснимое
пока не покинули силы,
пока корни нащупывают ядро
планеты, а кроны шатром
встают над некошеным лугом,
где будет метаться вьюга

в поисках собственного хвоста
бешеным псом, чья судьба непроста
в условиях доли бездомной –
скатанной снежным комом.

Стебель, стебель –
ты ещё мал и слаб. Тебе бы –
больше живой воды
и участливого тепла, ведь ты –
тонок и сиротлив
вдали от раскидистых ив
и замшелого перелеска –
появившись случайным всплеском
растительности подножной.
Мы обходим тебя осторожно
по пути к обветшало́й деревне,
которая тоже задумывалась, как древо...

* * *

За Борисоглебском –
в грибном перелеске,
за Наро-Фоминском –
на кордоне неблизком,
за Гусь-Хрустальным –
на озере дальнем,
за Переславлем-Залесским –
в лесничестве местном –
те же полынь да туман,
что и в границах ума
жителей места позвонче –
в жилетках дорожных рабочих
рыжеющих в гуще событий
на перекрёстках, где нити
стянулись в гордиев узел
под тяжестью обрётённого груза.
Даже писатель – скажем, на Сиракузах –
в бокале с местным вином

или в виски со льдом
вынырнет на середине Ветлуги –
будто и не выходил из-за плуга.

Ходит по жёрдочке
кенар в полночи –
изучает контуры клетки,
а где-то – на бог знает какой отметке
карты – плещется ельник,
сосны насакивают на мели
сочных полян,
где дышит земля
сквозь чёрные поры,
и лишь вдалеке поезд скорый
из-за тёмного леса
свои помечает рельсы
долгим протяжным гулом,
летающим до Барнаула.

В шапке на босу голову
стоит на обочине сын, слыша колокол –
шапку долой да отца поминает вслух –
во весь дух.
Или за Гусь-Хрустальным,
или за Наро-Фоминском –
если от озера дальнего –
то явно не близко...

* * *

Рыба – живущая
в створе реки –
в самой гуще
воды, пеленающей материи –
знает байки рыбацкие,
может часами травить
эти рассказы о себе, что басом
хмельным на перине прибрежной травы

декламировать любит Петрович
после третьего тоста
и Кузьмич, когда невзначай подловишь
его на слове о способности рыбьего мозга
распознавать приманку
даже в мутном потоке.
Рыба то, что не изложено на бумаге,
хранит, будто тонко
нарезанный томик --
роман под редакцией ила
и пены – так, что вряд ли утонет
он в книжном омуте библиофила.

Рыба – как возглас,
рыба – как зябкий всполох
в толще волглой,
из которой отлить бы колокол –
такой, чтоб со дна поднимал и лелеял
каждую толику грунта
и нёс сквозь волны зов избавления
от сухости абсолюта,
ставшей религией масс.
Впрочем,
Петрович,
вернувшись с рыбалки,
считает ведро лишь
мерилом успеха, устав, как собака,
а Кузьмич, придя ближе к ночи
домой, находит успешным лов,
если больше не хочет
ни поклёвок, ни слов,
ни пиров у костра,
а только мягкие тапки
и за часок до сна –
сериала, борща и на финальном этапе
жарких объятий жены.
Но рыбалка – считает он – для души.

Камыш – шелестит,
чайка – в небе горланит.
Утром – часам к шести –
рыба идёт на закланье,
и огромные руки её извлекают на свет,
в котором схожи слова «обед» и «обет»,
если вар в котелке представить разбуженной лавой.

* * *

Городок – табакерка –
маленький, позолочен
листьями осенью, а по весне – робея –
солнцем цветочным –
одуванчиковым бутоном.
В каждом окне – по кошке,
по сфинксу пирамиды из шлакобетона –
стерегущему, если не прошлое,
то очевидное, привычное завтра.
Велосипед и почта –
мимо становищ базара
к частному сектору, где огни даже ночью
не выходят наружу – едут неспешно,
цепь на звезду мотая.
Это, конечно –
вести не из Китая,
сбранного в косицу
кормчей рукой суровой,
не из изнеженной Ниццы,
где голубиное слово
село на окна с яркими витражами,
не из Америки душной,
высь исчисляющей этажами,
оснащёнными кондиционером и душем.

Это привет из ЖЭКа,
кипа газет с программой
и полстранички от Женьки,

что служит где-то за гранью
реальности – вроде бы на космодроме.
Курицы перебегают дорогу –
и шмыг под забор плющом увитого дома,
где баба Катя прилежно молится богу
и дни считает до выдачи пенсии,
чтобы скорее в аптеку.
Из открытой форточки – песни
из пещерного века
заглушают пьяную ссору.
А у соседей – аврал в огороде,
который скоро
перерастёт в битву за корнеплоды.

Городок – табакерка –
ищешь замочек, защёлку –
вертишь в руках – будто белка
странный орех, не заметив, что сбоку
есть какая-то кнопка.
Нажал – и вот из-за створки
летит божья коровка
на пыльный стебель осоки...

* * *

Включил ноутбук,
проверил почту.
И здесь пишут с помощью рук –
вот только отсутствует почерк,
как важный критерий
оценки живого участия
в производстве материи
буквенной, в которой и сам сейчас ты
стараешься быть органичен,
уместен и точен –
это речь, а не крик электрички,
но, всё-таки почерк
дал бы более тонкие нити,

ведущие к адресату,
что не говорит на санскрите,
так как родился в семидесятых,
а не три тысячи лет назад
на полуострове Индостан –
где адресат –
каждый слон из условных ста,
каждое каменное божество,
сансары катящее колесо,
каждый восход и каждый закат...

Проверил почту,
налив себе крепкого чаю –
кто-то проведать хочет,
как у тебя дела – отвечаешь,
что, в принципе, всё нормально –
спутники на орбите,
травка зелена, и далее
мог бы начать на санскрите,
если б родился
три тысячи лет назад
в городе древнеиндийском,
а не в поволжских лесах,
втянутых в игры прогресса,
где сам ты всегда в дураках,
но к свету идёшь тёмным лесом –
вслепую, не наверняка.

Выключил ноутбук,
и вот ты – сухой бамбук,
флейта предчувствий
со сквозняком внутри,
тянущим ноты каким-то случайным руслом,
не ожидая, что вступит оркестр на «раз-два-три»,
и, если бы, правда, был древним индусом –
сел бы на спину слона – к тёплому прикоснулся б...

Игорь Альмечитов

ЛАБИРИНТ

...Карманы были привычно пусты. Сырой ветер все так же дул в лицо, цепляясь за волосы, уже основательно отросшие. Денег на стрижку не было. Впрочем, и прикрывать голову ему никогда не нравилось. Он любил ветер, любил приходить домой основательно замерзшим, чтобы не оставалось ни мыслей, ни желаний. Уже с закрывающимися глазами чистил зубы и залезал под одеяло со смутной надеждой на следующий день... На каждый следующий день... И так изо дня в день...

Центр города был так же сер, как и обычно зимой. И все же что-то иногда радовало даже в этой унылой, привычной серости. Люди, наверно, ожидание новой встречи, улыбки, быть может, – тоже неплохо...

И город, и страна выкачивали все силы. Дико хотелось куда-то уехать отсюда, но точного места в воображении не возникало. Попытки заработать, как всегда, были бесплодны. Усталость, когда ещё нет и тридцати. Приходилось заставлять себя каждый новый день вставать, умыться и надеяться на что-то. Давно приходили мысли заработать один раз прилично, просто убив кого-нибудь, кто того стоит. Принципы, если и существовали когда-то, сейчас были не больше, чем набором пустых слов.

Что мешало? Найти того, кто сразу мог дать много, и больше не требовать. Ему хотелось заработать только на спокойствие...

Отражением внешней жизни явилась привычка думать диалогами.

Так что мешало?... Отсутствие моральных основ не тяготило. Не пугала ответственность или возможные моральные препятствия...

Просто не хотелось пачкаться... Хотя было все же заманчиво. Всего один раз, чтобы не повторяться. Воли бы наверняка хватило.

Пачкаться не хотелось, но каждый день мысль возвращалась все настойчивей. Зачем именно убивать? Возвращаться к современному способу ведения дел не было ни желания, ни возможности. Бесплодные усилия надоели и не оправдывали себя. Время уходило...

Он давно уже убедился в том, что по-настоящему хороший враг – враг мертвый. Весь предыдущий, далеко не позитивный опыт был тому под-

тверждением. То, что кто-то мог стать врагом впоследствии, не вызывало сомнения. Это были деньги, с которыми никто не шутил. Именно поэтому проще было закончить чем-то определенным. Раз и навсегда...

В последнее время, казалось, даже сны стали особенно пугающими. Хотя сравнивать было не с чем. Сколько он помнил себя, его всегда что-то тяготило, особенно во сне. И все же часто находилось что-нибудь действительно неплохое. Может по сравнению плохого с ещё более худшим?

Хотя, подчас происходило и вправду что-то успокаивающее: бывало, во снах он говорил по-английски. Радовала больше не отрешенность от этой жизни, а скорее, достижимость и ожидание нового...

И все же что-то останавливало? Привычная русская лень, неспособность начать дело? Пожалуй.

Даже возвращаться к себе в третьем лице уже становилось привычкой. Как удивился бы кто-нибудь, услышав его спокойные и циничные размышления о жизни и смерти. Смерти чужой, конечно. Хотя он не боялся и своей. В чем была ценность жизни? И сколько она стоила? Да и стоила ли она чего-то в действительности? Сомнительно.

...Прочитанные книги поставили изрядный барьер в отношениях с окружающим миром. Перебираться с одной стороны на другую пришлось слишком долго. И сейчас он не знал точно, где находился. Сознание все ещё было грудой развалин. Хотя время, казалось, ещё было... Просто не хотелось пачкаться...

...Это был уже второй день, как он наблюдал за людьми именно с этой целью. Все же он сумел пересилить себя. Что-то должно было произойти. Почему не это? В конце концов, он имел равные шансы и на успех, и на неудачу. Неплохо для начала. Если учесть все, что возможно, и оставить место для того, что учесть, в принципе, невозможно – досадные случайности – шансы могли неимоверно вырасти. Скажем, один к десяти. Или даже выше... Одна никчемная жизнь на другую, вероятно, такую же никчемную, но прожитую с большим смыслом. Хотелось бы надеяться...

Неужели совершив преступление, он будет всю жизнь раскаиваться? По крайней мере, у него была возможность проверить... Хотя вряд ли. Как раз то, что это сделано, чтобы никогда больше не произойти, и вызывало чувство уверенности в себе, даже гордости.

Впрочем, он не мучил себя моральными терзаниями вроде героев Достоевского. Мысли шли параллельно всему, не соприкасаясь с сутью обдуманного и решенного.

...Пятый? Шестой день? Он уже не считал. Да и отправной точки нигде

не было. Просто восприятие поменяло угол. По-прежнему не тратя времени на обдумывание деталей, он наблюдал. Одно из немногого, чему он научился. Плюс терпение. Казалось, этого уже было достаточно для начала. Жаль, что у него оно приняло такую искривленную, с одной стороны, и сомнительно-короткую, с другой, форму. Хотя «жаль», наверно, не подходило – просто не хотелось пачкаться.

Люди, имеющие несколько тысяч долларов наличными сразу, – валютчики. Те, что покупали и продавали эти доллары. Десятки проходных персонажей в день, сотни в неделю, возможно, тысячи в месяц. Едва ли его лицо всплывет в этом бесконечном потоке. К тому же пара месяцев достаточное время, чтобы его лицо затерялось на фоне других.

Приходилось ставить не на что-то в отдельности, а на все сразу, просчитывая даже неучтенные случайности.

Он нашел нужных людей и умел наблюдать. Идея не становилась навязчивой – жизнь текла так же неторопливо и размеренно. Ожидание даже возможного провала не пугало. Все же он ставил на другое. То, что искать именно его не будут, он не сомневался. Он был гастролером, случайным, ни с кем не связанным человеком в этих кругах... Милиция перегружена подобным. Бандиты, если и найдутся такие, будут искать не того, кто сделал, а скорее того, кто начал тратить. В этом смысле он был спокоен. Оставалось узнать с достоверностью до минут, когда деньги будут в карманах у того, на ком он остановился. Кроме периодического и систематического наблюдения, ничего не оставалось. А ждать он умел...

В конце концов, это было просто очередное дело. Не лучше и не хуже любого

другого. Ещё один этап в жизни. И он пытался относиться к нему добросовестно. Одежда и обувь после всего, естественно, пойдут в огонь, поэтому выбрать нужно что-то нейтральное – что не будет выделяться на улице и что не жалко будет сжечь впоследствии. Ещё то, что уйдет незамеченным из дома.

Он пытался подстраховать себя даже с этой стороны, зная, как давно забытое всплывает в самые неподходящие моменты, иногда спустя многие годы. Хотя он не любил возвращаться к этому, наперед зная, что пьянящее ощущение риска может проглотить его, не оставив места холодной и расчетливой логике. Ощущение прыжка в омут, не зная, вынырнешь или нет. До сих пор он выныривал. С большими или меньшими потерями. По большому счету ему всегда везло. Точнее, – он просто не проигрывал. Пока не проигрывал – жизнь ещё не сломала его. Или он сам был настолько силен, что не поддался ей? Он не знал и даже не задумывался над этим,

научившись относиться ко всему равнодушно. Наверно, оттого и чужая жизнь стала в один ряд с прочим, ничем не выделяясь на общем безликом фоне того, что проходило перед глазами.

...Привычные к деньгам пальцы моментально отсчитали нужную сумму, ощупали его одинокую двадцатку и выжидательно замерли.

Замерзшие руки неуклюже перекладывали купюры из одной стопки в другую... «Все в порядке?» Он кивнул, не глядя в глаза, – не хотелось – боялся рассмеяться. Он уже представил себе контраст между ним, стоящим напротив, с бегающими глазами, и им же, мертвым, месяца через два. Да, деньги были здесь, в общем-то уже его. Осталось лишь подождать некоторое время.

Человек был уже мертв, даже не зная об этом. Все это напоминало детскую игру. Только масштабы были другие.

«Take care...» Он улыбнулся от неожиданной двусмысленности. «Что»? – не понял тот. «Спасибо». «А-а».

Он повернулся и пошел прочь. Что ж, часть уже была сделана. Оставалось ждать.

И все-таки ему определенно везло. Приходилось надеяться на случай. Это не было даже тактикой, просто ожидание. Можно было ждать годы, и безуспешно. Но ему везло. Что-то их действительно связывало. Жизнь, наверно. Неожиданная мысль заставила улыбнуться.

Прошло больше двух недель с тех пор, как он разменял деньги. Сейчас они ехали в одной маршрутке. Странно, казалось, подобные типы должны иметь машины... Конечно, человек мог ехать и не домой, но после целого дня работы... Он улыбнулся опять. Работы... Хотя то, чем он сейчас занимался, тоже было в некотором смысле работой.

...Обычно под вечер люди возвращаются домой... Они вышли на одной остановке, и он проводил его до подъезда. Второй этаж. Тот даже не обернулся. Что ж, по крайней мере, уже было от чего отталкиваться...

И все же изредка появлялось знакомое чувство неоправданности всего предприятия. В подобные моменты наваливались усталость и неуверенность, но ему удобнее было считать их минутами слабости, поэтому в такое время он просто направлял мысль в другое русло...

Он часто ловил себя на мысли, что постоянно необоснованно улыбается. Ему всегда было интересно, как это смотрелось со стороны. Глупо, вероятно. Впрочем, он давно уже отучился считаться с чужим мнением в таких мелочах.

...Ясно было, что деньги не сделают его счастливее, так же как и богаче. Но что-то они все же принесут.

Просто это дело, как и любое другое, требовало логического завершения. Можно было поставить точку прямо сейчас, не продолжая ничего. Что тоже казалось решением. Но, достаточно однобоким, размышляя отвлеченно, тем, к чему все равно пришлось бы вернуться рано или поздно. Это было не проявление воли, а лишь попытка обосновать бездействие и трусость.

Нужны были определенность и твердое решение. Сейчас отступить – означало проиграть, даже не успев ничего начать.

Станный способ встать на ноги, хотя и далеко не новый.

Он позволял мыслям свободно бродить, не ограничивая их, зная, что все равно придется возвратиться к той же мертвой точке, с которой он начал несколько недель назад...

Он улыбался, наблюдая за знакомыми аргументами, но сейчас они были не больше, чем постоянным атрибутом внутреннего диалога – улыбка предназначалась не им, а принятому решению.

Становилось смешно от оправданий и доводов, приводимых себе же. Все свое внимание он фокусировал на себе, не будучи эгоистом. Выглядело все это, наверняка забавно, хотя он прекрасно знал собственные перепады настроения и уже давно не удивлялся.

Хотелось, пусть ненадолго, воспитать в себе искусственную злость, расставшись с близкими людьми, так, чтобы вне его не осталось резервов, на которые можно было бы положиться. Еще, пожалуй, чтобы не испытывать ни сожаления, ни жалости к себе. Прошное перечеркивалось только ради настоящего, хотя за свое будущее он не дал бы сейчас и ломаного гроша.

Было, наверно, ещё подсознательное наслаждение причиняемыми себе страданиями. Но на потворство ему не было ни времени, ни желания.

Любое решение несло в себе ошибку, сейчас или позже, каким-то образом отражаясь на окружающих. Значит, критерий был в самом поступке и его последствиях, поскольку безошибочно только бездействие... Хотя, нет, бездействие ещё более ошибочно. Кроме того, рождает сожаления и неудовлетворенность...

Уже не сдерживаясь, он весело засмеялся. Он опять возвращался к тому, с чего начинал. Верным было только собственное решение, однажды принятое и нестигаемое. Была ещё этическая сторона, по сути, ещё более эфемерная, чем все остальное. Но к ней он даже не обращался...

Много раз он размышлял об оружии, но поначалу к чему-то определенному так и не пришел. Удобнее всего был пистолет, но денег на него

не было. К тому же протянулась бы ещё одна нить между ним и убийством. Пусть предполагаемая, но принимать решения и учитывать случайности нужно было сразу, чтобы не возвращаться к ним впоследствии... Оставался нож. Близость контакта не пугала – крови он не боялся.

Достать нож необходимо было в том месте, с которым его не связывало абсолютно ничего, даже случайное знакомство. Все-таки время у него ещё было.

И здесь ему опять повезло. Хотя, возможно, он все отдавал делу, и оно платило ему тем же. Впрочем, вероятнее всего, он был настроен на определенную волну, и мысль была нацелена на то, в чем он больше всего нуждался...

В столовой, куда он зашел поест, продавец оставил на прилавке большой разделочный нож. Вместе с блюдами он положил его на поднос, сдвинул тарелки и сел за стол. Никто ничего не заметил.

Пусть медленно, но все шло к завершению. Без малейших пока затруднений. Он знал, что масса непредвиденного произойдет именно в последний момент, а также позже. И все же отсутствие отрицательных факторов отчасти пугало. Все было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.

Часами – гуляя или лежа на кровати – он обдумывал решающие мгновения, находя неточности в своих действиях и предыдущих расчетах.

Карманы должны быть пусты, ботинки на шнурках и одежда без пуговиц. Нож привязан к предплечью. Скорее всего, придется войти в квартиру, но начнется все ещё на лестнице. Предположительно, в квартире будет один человек. Если же квартира будет не пуста, тогда придется подчищать все на месте...

Предположительно никто не хватится человека до утра и, тем не менее, нужно будет покинуть квартиру через десять-двенадцать минут. Достаточно, чтобы взять деньги и проверить, не осталось ли улики. Если денег окажется много, изрядную часть придется оставить.

Впрочем, всех улик все равно не избежать – само преступление уже было уликой. Если же его трюк с деньгами поймут, по крайней мере, он выиграет некоторое время. Нож надо взять с собой – где-нибудь по дороге воткнет глубоко в землю. Кроме того, далеко нужно будет уйти пешком, потом, по меньшей мере, поменять четыре-пять машин и, наконец, домой опять идти пешком. Достаточно близко к дому и достаточно далеко от последнего места контакта с людьми, непосредственно после убийства...

Он произносил это слово десятки раз, так, что пугающее изначально значение пропало, оставив по себе просто набор звуков...

...Оставалось два дня. Немного нервничая, как и перед каждым новым

делом, он был готов. Где-то, наверняка, оставались слабые места: всего учесть просто невозможно. И все-таки он был готов... Он опять подстраивал окружающее под себя, а не наоборот. Слова, несущие отрицательный оттенок, повторяемые до бесконечности, изменяли значение или вообще теряли его. А с потерей значения исчезало и все, стоящее за словом. Но результат получался как раз тем, какого он желал: слова и значение сливались в одной точке, оставаясь звуками и ничем больше...

...Он шел по ночному городу, улыбаясь тишине и мутно-желтому свету фонарей. Сил оставалось все меньше. «Только бы дойти до дома».

Парень оказался не промах. Но он опять выиграл, как выигрывал всегда. Он просто не мог позволить себе проиграть. В карманах лежали деньги. Первый раз он имел столько сразу. Отчего-то сейчас это не радовало. Он посмотрел на руку. Ладонь была в крови...

Глубокая рана в боку отвратительно ныла... «Да, – он тоскливо улыбнулся, – жизнь отнимает слишком много времени...»

Декабрь 1998- январь 1999 года

ЗИМЫ... ВОКЗАЛЫ

Он прикрыл глаза и поежился от холода. Куртка не грела. Жесткое сиденье, отдаленные гудки редких поездов, резкие звуки очередного вокзала становились привычным фоном его жизни. Сил сопротивляться себе уже не было. Полтора месяца, как он ушел из дома, даже не оставив записки. Все же он надеялся вернуться в ближайшее время. Но каждое новое истечение короткого срока, что он давал себе, чтобы свыкнуться с мыслью о возвращении, он продлевал ещё одним.

– Сережа!

Он спонтанно открыл глаза и обернулся. В нескольких метрах от него молодая женщина пыталась подозвать к себе непослушного ребенка.

«Ч-черт». Тело среагировало автоматически. Так когда-нибудь он и проколется. На сущей мелочи. Пора бы уже научиться контролировать себя. Когда-то и его звали Сергей, пока не пришлось влезть во всю эту грязь. Впрочем, это уже последствия. Важнее было прожить этот участок жизни, нигде не споткнувшись и не оставив следов. Да, когда-то так звали и его. Всего полтора месяца назад, пока ему не достали чужой паспорт. Сумка стояла рядом. Он с неприязнью покосился на нее – ремень, обмотанный вокруг запястья, давил на кость. Это были его деньги и его работа.

Он вспомнил вокзал в Харькове, где от облавы приходилось убегать по железнодорожным путям с той же тяжелой сумкой, ныряя под десятки вагонов. Прокушенные овчаркой предплечье и бедро... Жалобное скуление собаки с перебитыми кирпичом хребтом и ребрами... Предплечье вроде бы заживало, но бедро ныло до сих пор и продолжало гноиться. Он поморщился от неприятного воспоминания. Долго так продолжаться не могло. Он не верил в свою судьбу. То, что ему так дико повезло, было чистой случайностью.

Бросать нужно было сразу после Харькова, но он все ещё был здесь. Он был должен слишком многим, чтобы просто встать и уйти. Единственной надеждой было то, что денег будет достаточно раньше, чем его поймут...

До поезда оставалось больше двух часов. Он опять прикрыл глаза. Сколько же он уже не спал по-человечески – на кровати и свежих простынях? Кто-то тяжело опустился на соседнее сидение, громко отдуваясь. Мышцы напряглись. Он осторожно покосился на звук. Рядом сидел старик, листая потрепанную книгу. «Нервы ни к черту». Он расслабился, опять пытаясь задремать. Вспомнились жена и ребенок, оставшиеся дома... Он удивлялся, о скольком успел подумать в относительно спокойные моменты, что мотался по стране. По сути, он не испытывал большой привязанности ни к жене, ни к сыну. Останавливали общественные приличия. Наверно, оттого и не ушел из дома раньше. Вбитые в голову с детства нормы поведения, которых он подсознательно придерживался, даже не задумываясь над ними. Просто плыл по течению. Тяжело было первые пару недель, особенно по утрам, когда от тоски по чему-то привычному под стук колес и мягкое покачивание приходилось отворачиваться к стенке, дабы не нарываться на нескромные вопросы случайных попутчиков, лишенных обычного общения. Потом он привык. Хотя это не было даже привычкой. Просто уже во сне, каким бы пугающим тот ни был, он знал, кто он и где проснется.

Юношеская мечта быть постоянно одному воплотилась в реальность, приняв достаточно странные формы. Но он быстро смирился и с этим, получая удовольствие от многодневного молчания. Если бы не чужой паспорт и сумка, набитая оружием, он мог бы сказать, что был первый раз по-настоящему счастлив. Но реальная ситуация перечеркивала все. Сейчас его звали Павлом, и он ехал в гости к родственникам на Урал. Ноги занемели на бетонном полу. Он поменял положение, плотнее закутываясь в куртку.

Его не волновало, куда пойдет перевезенное им оружие. Не надо было обладать светлой головой, чтобы понять дальнейшую судьбу содержимого его сумки. Он нисколько не переживал за последствия в той цепи, звеном

которой и сам сейчас являлся. Важнее были деньги, тем более что с каждым новым рейсом он получал все больше. Те, на кого он работал, знали, за что платили – за его нервы и постоянное напряжение, длящееся теперь уже неделями. Когда-то государство вытерло об него ноги. После этого он понял, что работать нужно только на себя. Схема была до гениальности проста – государство, как казино, никогда не проигрывало. Жаль только, чтобы понять это, потребовалось несколько лет.

Он сонно открыл глаза, стараясь не шевелиться, боясь растерять тепло, заботливо накопленное за последние минуты... Полтора часа... Справа раздавалось то же гулкое хрипенье. Ступни начинало ломить от холода. Знакомое ощущение. Семь месяцев дисбата постоянно напоминали о себе. Вспомнился плац в двадцатиградусный мороз, офицеры, бегающие греться через каждые десять минут в соседнюю казарму. Комбат, уехавший на обед, и весь батальон, ждущий его без движения на пронизывающем ветру. Две недели в лазарете после четырех часов ожидания. Легкие теперь болели даже в нулевую температуру... Отбитые не раз почки... Сгустки крови, которые он отхаркивал вместе с обломками зубов, лежа в душевой...

Никто не знал о его прошлом. Он и сам вспоминал о нем все реже. От того времени осталось лишь подорванное здоровье и ощущение постоянной безысходности. Именно тогда он плюнул на принципы, с которыми жил раньше, отказавшись сразу ото всех. С ними пропали большинство моральных и этических проблем. Цинизм, пришедший им на смену, оказался совсем не пугающим и со временем гармонично вписался в его жизнь...

Он резко вдохнул холодный воздух. Тело тотчас же скрутило в чахоточном, рвущем горло и легкие кашле. Краем глаза он увидел, как старик оторвался от книги.

– Вот, что значит без шапки ходить...

– Да... Без шапки, – эхом отозвался он. Приступ уже заканчивался.

– Может, таблетку дать?

– Н-нет, спасибо, – к старику он так и не повернулся.

Снова пытаясь согреться, он поднял воротник и закрыл глаза. Старик, ворча себе под нос, углубился в чтение.

Вспомнилась мать, умершая восемь лет назад... Отец-алкоголик, пропивший дом к его возвращению из армии. С тех пор они больше не виделись. Казалось, отец даже не знал, что он женат и что у него есть ребенок. Впрочем, слово «отец» не несло в себе никакой личной оценки. Просто человек, которого он называл так для собственного удобства во избежании путаницы и лишних вопросов окружающих...

Вдоль соседнего ряда кресел шли двое патрульных с собакой, направ-

ляясь к пьяному, спящему в конце зала... Он наблюдал за неспешными движениями патрульных и пьяным из-под приспущенных век, готовый в любую секунду покинуть здание вокзала и дожидаться поезда на улице. От прежней осторожности сейчас не осталось и следа. Втайне, даже не признаваясь себе в этом, он желал, чтобы его остановили. В последние дни он исчерпал остатки воли и теперь пустил все на самотек, надеясь, что кто-то другой примет за него решение. Твердое и однозначное, что бы оно ни несло в себе. Давно, больше месяца назад его остановили на вокзале в Москве, потребовав показать документы. Краснея и заикаясь от испуга, он стоял и нес какую-то чушь о родственниках, живущих в столице. Молодые сержанты, отнеся его испуг на счет своей внушительности, рассказали, как лучше добраться до места и покинули его мокрого от напряжения, с ватными ногами, стоящего на перроне. Он улыбнулся, сам не зная чему. Контрасту, наверно. Или, точнее, контрастам. За то время, что он не был дома, он изрядно похудел и устал от жизни. С каждым днем он все больше изнашивался морально. Отчаяние и безысходность все сильнее поглощали его. Когда-нибудь он точно сорвется. Может даже сегодня. Он давно уже балансировал на еле заметной грани, ожидая хоть какой-то развязки.

Было в нем и ещё что-то, что не участвовало в реальных событиях, с интересом следя за его судьбой со стороны. Может, потому он ещё и не надорвался, вовремя умея отключиться от всего вокруг, отвлеченно анализируя свои поступки и безучастно наблюдая за ними, нисколько не ассоциируя себя с тем, кто совершал их. Чуть больше часа...

Он был в дисбате, когда умерла мать. Ему не раз казалось, что одной из основных причин ее смерти был он сам. Тогда на могиле он долго разговаривал с ней. Даваясь словами и подбирая выражения, пытался высказать вслух все осевшее в нем. С мертвыми было намного легче – они не требовали пояснений, не задавали глупых вопросов и умели слушать. Он пробыл там целый день – пил и говорил, говорил и пил, словно что-то в первый раз за долгие годы прогнулось в нем и дало слабину. Уже под вечер, с недоверием прислушиваясь к хриплым и сухим рыданиям, забыв на время о матери, обнаружил, что разучился плакать. Его пьяного ошеломила тогда ещё одна потеря. Он долго сидел молча после этого, вспоминая прошедшие часы – весь день отдавал фальшивой игрой плохого актера. Уже там, на кладбище, он понял, что не испытывает тех боли и нежности, которые, пытаясь доказать себе обратное, столь наглядно демонстрировал. Придя домой, он дико напился, избив пьяного уже отца, не в силах как-то иначе выразить пустоту и то чувство потери, с которыми теперь приходилось жить.

Мать олицетворяла того, кто принимал решения и нес в себе всю от-

ветственность, и та тупая боль, что он вдруг ощутил, была связана не с ней, а со своей разбитой юностью. Теперь надеяться было не на кого. Он знал, что рано или поздно такой момент должен был наступить и, тем не менее, его приход был настолько неожидан, что надолго вышиб его из колеи.

Через четыре дня безостановочной пьянки, с мутной ещё головой он сосчитал оставшиеся деньги, собрал вещи и ушел из дома. С тех пор он ни разу не появился в родном городке... Он поехал опять. Сейчас осталась только усталость. Деньги, деньги... Последние годы он только это и слышал. Деньги и сила определяли все. Причем сила в любом ее проявлении: от грубой физической вплоть до политической власти. Он был слабее и, тем не менее, выше, идя на поводу и одновременно презирая их. Никогда не умея зарабатывать, он трезво оценивал даже нынешние свои шансы как нулевые. Это были не его стихия и не его призвание. Давно хотелось бросить бесполезную гонку, но деньги давали свободу выбора – как раз то, к чему он стремился и чего ему всегда не хватало. «Еще несколько поездок...» Это «несколько» показывало всю его слабость. Слово существовало уже в течение месяца. Он боялся, что спустя такой же срок все так же будет верить своему нехитрому обману.

Он опять посмотрел на часы. Сорок семь минут... С каждым днем нетерпение и панический, подсознательный страх нарастали с геометрической прогрессией. Мелочи, которых раньше он просто бы не заметил, раздражали своей навязчивостью, выливаясь в приступы бешенства.

Раз, два, три, четыре... Размерно и неторопливо, намеренно растягивая про себя слова, он считал секунды, пытаясь успокоиться и внутренне собраться. ...Пятьдесят восемь, пятьдесят девять... Протянув ещё мгновение, он мысленно произнес «шестьдесят» и сразу поднял руку к глазам. Заскрежетав зубами от злости, чтобы не выругаться вслух, он медленно выдохнул воздух. Его минута закончилась на восемь секунд раньше. Эффект, которого он ожидал, был обратно пропорционален тому, что он получил. До отправления оставалось сорок шесть минут. «Ладно, всего три четверти часа. Поспим в поезде». Со злобной радостью он вычеркнул из жизни минуту, чувствуя, что принесенная жертва не пропала даром: прежнее настроение постепенно возвращалось.

Он никогда не оправдывал себя и никого не обвинял. Из него вышло то, что реально должно было получиться из человека, идущего на поводу у окружающих и придавленного обстоятельствами. Он ушел от жены так же легко, как ушел из дома несколько лет назад – без сомнений и сожалений, вполне допуская, что может никогда больше не вернуться. Два дня бесцельно бродил по городу, ночуя у друзей, пока совершенно случайно ему не предложили работу. Потребовалось ещё несколько часов, чтобы

согласиться. Все произошло настолько буднично, что предложение, покорбившее или испугавшее бы его год назад, было воспринято без малейшего колебания. Те полдня, что он якобы потратил на обдумывание, были посвящены обычному соблюдению приличий и воспоминаниям...

Детство не было радостным и счастливым. Долго роясь в себе и цепляясь за детали, можно было восстановить отдельные эпизоды. Очень редко, всего несколько раз, он опускался на дно памяти. Но то, что он находил там, напоминало старые черно-белые фильмы, отчасти засвеченные и далекие от реальности. В том, что он видел, не было ничего личного – отдельные неинтересные сюжеты, на которые жалко тратить время. Детство воспринималось, как нечто цельное, имеющее звуки и запахи, окрашенное в определенные тона: усталое предзакатное солнце, цвета строек и свежевыкопанной глины. Ничего личного. Серо-коричневое время. По сути, все было закономерно: серое здание провинциального вокзала, как отражение детства, сумка полная оружия, отсутствие перспективы и определенности. Одна из тысяч судеб людей, оказавшихся на задворках истории. В конце концов, на что он должен был рассчитывать при отсутствии явных талантов и даже отсутствии самого желания надеяться на что-то? Кто-нибудь из старых знакомых мог бы сказать, что большего от него и не ожидали. Но ему было уже плевать. Он поднялся с кресла и повесил сумку на плечо. До поезда оставалось двадцать минут. Жизнь текла рядом, не задевая его. Он взглянул на старика. То же ждет и его через несколько десятков лет – одинокая и бестолковая старость. Он перевел взгляд на зал ожидания: десятки людей прохаживались, сидели, спешили по делам. «Нет, так нельзя. Когда-то надо и самому принимать решения». Он опустил в кресло и устало посмотрел на сумку. «Почему не сегодня, в конце концов?» Не он сделал себя таким... Просто он был слабее прочих. Осторожно, чтобы никто не видел, он вытащил из сумки новый армейский пистолет и засунул его под куртку. Незнакомый город, чужой паспорт. «Впрочем, какая разница?» Холодному металлу постепенно передавалось тепло тела. Тихо и аккуратно он передернул затвор. До обидного было жаль себя. Хотелось заплакать от тоски и одиночества. Он посмотрел вокруг и усмехнулся. И это все, к чему он пришел.

Металл нагрелся. Он развернул дуло к сердцу и последний раз взглянул в окно. Он всю жизнь шутил над другими. Настало время пошутить над собой...» Прожить столько лет, чтобы закончить свою жизнь бог знает где...» Палец опустил на курок. «Все-таки уходить нужно тоже вовремя...»

Зима 1999

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

...Тяжелее всего было зимой, в морозы. Бетонные стены покрывались инеем, переливавшимся при свете мутной электрической лампочки, ныла несуществующая уже почти двенадцать лет нога. В такие моменты он натягивал на себя все тряпье, что у него было, ложился на грязный, в желтых разводах матрац, накрывался дырявым одеялом и молча наблюдал за клубами белого пара, вырывающимися изо рта. Эти стены давили на него, особенно поначалу, когда пьяный он бросал им обвинения односложным матом... Но они понимали и всегда упрямо, виновато молчали. Постепенно он свыкся с ними и часто, сам того не замечая, отдыхал на мысли о возвращении в свой подвал и о вечернем отдыхе в полной тишине и изоляции.

В углу, на ящике стояла начатая бутылка водки. Рядом с ней полбуханки черствого хлеба. На сегодня должно было хватить.

Он не выходил отсюда уже больше двух суток, прячась от холода и греясь одной лишь водкой. Человек без прошлого и будущего – последним и, пожалуй, единственным доказательством его существования был он сам.

Все вокруг неуловимо менялось с каждым днем. В глубине души он чувствовал, даже знал наверняка, что и его предел где-то рядом. Ещё совсем недолго. И, тем не менее, он боялся перемен даже в мелочах. Перемены несли новое и далеко не лучшее новое. Слишком много изменений было в его жизни, чтобы он мог ещё доверять им. И только водка оставалась чем-то неизменным все эти годы, гася боль и давая временное забвение. С ней рука об руку шла и цель каждого дня – достать хоть сколько-то, чтобы не вернуться в подвал пустым – цель всей оставшейся жизни, разбитая на отдельные равные участки.

Последней нитью, что связывала его с прошлым, была черно-белая армейская фотография, начавшая уже перетираться на сгибе. Он прикрепил ее к стене над ящиком, покрытым засаленным куском картона, служившим столом. Специально ночью выбирался на улицу, ковылял до ближайшего киоска, в полутьме, негнувшимися пальцами на ощупь пытался найти выплунутые кем-то жевательные резинки. Потом долго, уже в подвале разжевывал серые окаменевшие комки и, придав им гибкость, прилепил на них фотографию. И все это после того как неожиданно проснулся в слезах от старых, давно забытых, казалось, снов, наполненных войной и болью, чувствуя, что уже почти потерял человеческий облик.

На фотографии их было пятеро. Вернулся только он. Четверо остались там, на Саланге. Четверо и его нога.

Сейчас он был никому не нужный калека. Всеми забытый. В тридцать один год...

Он всегда пил вместе с ними и рядом с ними. С каждым последующим стаканом язык все больше развязывался. Он плакал и ругался, в пьяном угаре обвиняя их в предательстве, в том, что не взяли с собой или в том, что из-за них он стал калекой. Но чаще клялся, что эта, именно эта и есть последняя бутылка и что проживет жизнь за всех них, заработает денег и поставит им памятник. Всем вместе. Таким, какими они были на фотографии – молодым и здоровым...

Пить запоями он начал ещё в госпитале, потом, после выписки, не имея денег, стал пропивать все, что у него было. Нигде не работал и даже не пытался хоть как-то устроиться в жизни, убедившись после нескольких попыток в тщетности любых усилий. Точки, когда он просто безвольно покатился по кривой, не было, хотя, даже не признаваясь себе, долго ещё краснел в одиночестве, вспоминая, как пропил две свои медали...

Он встречал многих таких же, как он сам. В рваной, провонявшей запахами помоек одежде, они крутились возле рынков и вокзалов, воруя всякую мелочь или кланча деньги. Не раз он пил с ними, напиваясь до беспамятства, затевая драки, часто просыпаясь в одиночестве с разбитым лицом и кровоподтеками на теле: не мог ужиться даже с теми бродягами, что окружали его. Иногда он завидовал им, наблюдая, как они ели – боясь проронить крошки, сжимали хлеб в потрескавшихся ладонях, словно это был последний кусок в их жизни. Он не ценил того, что имел, и никогда не думал о будущем, вкладывая все силы в тот момент, в котором находился, одновременно живя в прошлом, пока, наконец, не разучился делать даже этого. Просто молча смотрел на фотографию и пил, не закусывая.

Теперь дни были похожи один на другой. Когда-то каждый был наполнен до отказа ожиданием постепенных, безболезненных перемен к лучшему. И хотя где-то в глубине него тихий предательский голос шептал о том, что свою жизнь он уже проиграл, тормозя все попытки к действию сомнениями и ленью, он все же верил в решающий перелом в будущем и возможность все начать сначала. По-своему это как-то держало на плаву, пока не проснувшись однажды утром, он не смог вспомнить, какой сейчас месяц и даже время года: понял вдруг, что давно уже дни и ночи отличались только количеством света и тьмы.

Никто не считался с ним последние годы, но все кто знал, боялись его непредсказуемого, психованного нрава, угрюмого молчания и ощущения постоянной угрозы, исходившего от него. И сейчас не только мороз был причиной его безвылазной лежки в подвале. До сих пор ныли отбитые ребра. Одно, наверное, было сломано – при каждом глубоком вдохе, правое легкое пронизывала резкая боль...

Три дня назад, уже под вечер, он сидел в центре города с картонной ко-

робкой для мелочи перед собой. Один из здоровых бритоголовых парней, проходя мимо, презрительно кинул, даже не глядя, в его сторону: «Засбали эти козлы уже. Сидят по всему городу...» И он, слышавший такое не раз, равнодушный обычно ко всему, не выдержав, неожиданно для себя самого взорвался. То оскорбление было не просто словами. Оно полностью перечеркивало его жизнь и делало напрасными все смерти – последняя иллюзия, с которой он не мог и не хотел расстаться, последнее, благодаря чему он ещё жил и помнил о них, что было его реальностью и оставалось единственным убежищем. «Заткни свою пасть, урод!» «Чего?!» «Заткни свой ебальник, я сказал!»

Он всегда жил по своим придуманным правилам, не считаясь ни с силой, ни с авторитетом. Уже здесь его не раз пытались сломать, издеваясь и жестоко избивая. Но он никогда не прощал унижений, встречая обидчиков поодиночке и избивая вдвойне жестоко. Со временем его перестали трогать и, не видя попыток сближения, просто обходили стороной.

...Парень сделал сразу две ошибки – подошел и оскорбил ещё раз. Что было сил, он ударил его костылем между ног и когда тот упал, корчась от боли в паху, ударил второй раз, целясь в висок, но только рассек бровь... Они били его безостановочно минут пятнадцать, потом он потерял сознание, а когда очнулся, то ещё долго не мог пошевелиться, глядя на звездное небо, такое же чистое, как в Афгане...

Не было ни бессильной ярости, ни бешенства. С тех пор, как стал калек, он никогда не выигрывал, даже в мелочах, но каждый раз с тупым упрямством бросался в драку, ни на что не надеясь, с отчаянием обреченного. Накопленное на войне требовало выхода, оставаясь в нем нерастраченной злостью на уровне эмоций и смутных ощущений.

Он редко возвращался в мыслях к Афгану. Только когда не мог ответить на оскорбление, как сейчас. То время было самым ярким островком памяти, спасительным утешением, за которое он все яростнее цеплялся. Иногда с испугом обнаруживая, что не может вспомнить деталей, сам дорисовывал и разукрашивал провалы в памяти.

Что он делал тогда? Была нынешняя жизнь платой за те смерти и грехи Афгана? Сколько человек убил он там? Десять? Двадцать? Его ли были те пули, что поставили точки на многих жизнях? Те несколько семей, что они расстреляли, когда поблизости не было особистов, тот пацан, что кинулся на него с ножом, которого он застрелил в упор. Они никогда не снились ему, и он почти не вспоминал о них. Лишь иногда, чтобы убедиться, что война не была сном и в его жизни были не только эти стены, голод и водка. Он не жалел их. Он жалел себя и тех, что до сих пор улыбались ему с фотографии. Но больше он жалел себя и свою поломанную судьбу.

В такие моменты он острее, чем когда-либо ощущал свою обреченность и одиночество. Закутываясь в одеяло, пытался поскорее заснуть, зная, что утро не будет казаться таким безнадежным, как вечер. Вся ненависть, ни к кому конкретно не обращенная, застревала в одной бесконечно повторяемой фразе – «ебал я вас всех в рот, уроды». Он не находил более грязных слов, чтобы выразить все презрение к тому, что окружало его. И так, пока не проваливался в глубокие, тяжелые сны.

Он никогда не просил и ничего не давал в долг. Даже побирался молча – ставил перед собой коробку и наблюдал, как она постепенно наполняется мелочью. Он ненавидел всех без исключения, особенно презируя жалость бросавших ему подачки.

Однажды он почувствовал в себе что-то новое, внутреннюю силу, возможность измениться. Не пил два дня, накапливал спокойствие, стараясь привыкнуть к мысли о переменах. Потом ещё целый день сидел возле церкви, не решаясь войти. Но, в конце концов, пересилил себя и, уже под вечер, вошел внутрь, удивляясь тишине и незнакомым, дурманящим запахам. Церковь была пуста, лишь откуда-то из дальних помещений доносились приглушенные голоса. Он подошел к первой иконе и провел рукой по гладкой, стеклянной поверхности, ощутив неожиданно новый прилив спокойствия. В этот момент из боковой двери вышли двое служек в рясах и, увидев его, замерли на месте. Затем почти насильно поволокли к выходу и, уже на улице, грубо посоветовали никогда не заходить в храм божий. «Шатается тут всякий сброд...» В этот же вечер он напился в одиночестве, ругая матом и бога и «всю церковную сволочь».

Позже ему не однажды пьяному случалось бывать там, но никогда больше он не заходил внутрь, издеваясь над набожными старухами, которые, крестясь и шепча молитвы, в испуге шарахались от него.

После госпиталя он остался в Москве. Возвращаться домой одноногим калекой было страшно. Была уже середина лета восемьдесят восьмого. По госпиталю упорно ползли слухи, что войска скоро выведут, некоторые части уже выходили из Афгана. От этого было вдвойне обидно. В конце войны, на случайной мине...

Была смутная надежда осесть в городе и устроиться, но с самого начала он пустил все на авось, надеясь, что шанс сам найдет его. Спал на вокзалах и в городских парках, проедая и пропивая свои вещи и ту мелочь, что ещё оставалась.

Он отчетливо помнил тот день, когда в палату принесли их солдатскую зарплату, а некоторым деньги за ранение, офицера из финансового отдела с нахальной улыбкой на лице. Помнил, как постоянно молчавший

парень – если бы не врач, называвший всех по именам, никто бы не знал даже, как его зовут, – тупо, непонимающе смотрел на несколько купюр, потом сжал их в кулаке и что есть силы ударил прямо по той ухмылке и ещё долго бил ногами, свернувшегося на полу в комок, хрипящего от боли и страха капитана, пока его, с остекленевшим взглядом, трясущегося в припадке бешенства, не оттащили до смерти перепуганные врачи и медсестры...

Спустя неделю он встретил старика бомжа. Именно старик привел его в этот подвал, накормил и показал целый пласт жизни, о котором он знал только понаслышке. Подвал находился в новом высотном доме, и их не раз пытались прогнать оттуда, но они упорно возвращались назад. Постепенно даже участковый махнул на все рукой, и со временем на них двоих просто перестали обращать внимание.

Старик умер через два года...

...Несколько дней он ходил по районным комитетам, заходил к участковому, но его прогоняли ото всюду, даже не выслушав. Тогда он похоронил старика в том же подвале. Рыхлил землю палкой и выгребал руками...

С того времени он начал пить каждый день, полностью разочаровавшись в людях, ненавидя государство и город, в котором жил. Пил в ущерб питанию, иногда вспоминая, что не ел почти ничего по нескольку дней. Старик был единственным родным человеком, но спустя годы, он вспоминал о нем все реже. Память надолго застряла в Афгане, пока, наконец, он не начал забывать и о нем... Медленно плыл от утреннего похмелья к вечернему, выползал на улицу ждал, пока наполнится мелочью коробка и тут же пропивал собранное.

Каждое пробуждение, вырывавшее из бесформенных снов, успокаивало определенностью предстоящих часов. Он сразу тянулся к окуркам, подобранным накануне, выкуривал несколько штук и подолгу отхаркивал затем желтую, со сгустками крови слюну.

Хотелось ещё раз дожить до весны. Просто дожить, почувствовать запах апреля, горький вкус набухших на деревьях почек, увидеть мелкие резные листья. Даже умирать весной было не так обидно. Продержаться ещё пару месяцев, дожидаться настоящего обжигающего солнца, а там плевать... Что будет, то будет...

...Он высунул руку из-под одеяла, подтянул к себе бутылку и сделал несколько глотков. Водка даже не обожгла давно сожженное алкоголем горло, но все же в желудке потеплело. Он сделал ещё несколько глотков. По телу медленно стало разливаться тепло. Старые, полустертые в памяти ощу-

щения лета, палящего солнца, раскаленного песка и резкого очертания гор на фоне бесконечного неба... Избавляясь от наваждения, он потряс головой и выполз из-под одеяла. Воздух с остервенением вырывался из простуженных легких и бледно-молочным паром поднимался к потолку.

Он оперся на костыль, встал на ногу и обессилено откинулся на стену. «Ничего, ребята, бывало и похуже». Впервые за многие месяцы он улыбнулся им, весело скалившимся ему со стены. «Только бы дотянуть до весны...»

Весна 1999 года

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ВЕСНА

...Почему он, в конце концов? Мысль навязчиво преследовала. Как ни пытался он доказать себе, что был полностью равнодушен к ней, сам процесс постоянного доказывания медленно сводил с ума. Почему он? Что определило их выбор? Его неуравновешенная натура? Прошрое, где его единственным умением было убивать? Козел отпущения со стороны? Наверняка все вместе и каждый аспект в отдельности... Восемь тысяч долларов наличными за заказ. Отчего-то он сумел подавить спонтанное желание сразу согласиться, оговорив несколько дней на раздумье, чуть ли не впервые изменив привычке начинать и заканчивать все на одном дыхании. Несколько раз подходил с противоречивыми чувствами к телефону, готовый или твердо согласиться или отказаться. Однажды даже набрал номер, но услышав первый гудок, нервно опустил трубку. Мысли – от успокаивающих до абсолютно безумных – в бешеном ритме проносились в мозгу. Ни одна не удовлетворяла его. Голова раскалывалась от невозможности принять решение. То же происходило и с настроением – огромные скачки от истерической эйфории, где он хохотал пугающим даже себя самого смехом, до полного упадка физических и истощением моральных сил, когда он падал на кровать, зарывался лицом в подушку, ожидая, что решение само найдет его или, на худой конец, чтобы провалиться в черный и глубокий сон без сновидений.

Но раздраженное воображение не успокаивалось и во сне. Нарисованные картины смешивались с реальностью, причудливо переплетались с ней, пугая несуществующими подробностями...

...Шум ветра за окном, едва слышная вибрация стекол, журчание воды в трубах, редкие звуки падающих в подставленную тарелку капель из про-

текающей батарее. Он лежал, не двигаясь, медленно переползая ото сна к реальности, все ещё не совсем понимая в полудреме где находится.

...Звук старых, отстающих от стены обоев отозвался резким спазмом в животе и ударил по нервам, застывшим в напряженном ожидании хоть какого-то сигнала извне. «Двадцать пять лет... Чего я жду?... Манны небесной?... Откуда эта бесконечная усталость?... Сколько можно драться с ветряными мельницами, кожей чувствуя бессмысленность и неопределенность происходящего?... Неужели это последний шанс?... Все, что я заслужил?..» Он приоткрыл глаза: большие, мутно-желтые квадраты света на стенах, темные силуэты полок, забитых книгами, уходящих к потолку, письменный стол, заваленный бумагами...» Что дали сотни книг, кроме почти полного неприятия всех их?... Книги...» С горькой усмешкой он повернулся к окну.

Луна светила в глаза, желтым пятном зависнув между ветвей деревьев. Несколько минут он всматривался в мягкий отраженный свет, отрешенно думая, что завтра опять не избежать упреков матери в том, что спит по полдню и не работает. Попытался задуматься о чем-то ещё – в голове всплыло лицо незнакомой девушки, увиденной в городе вечером. «Почему я?..» Он повернул голову от окна к стене. Мысль возвратилась опять. «Да пошли они все!..»

Взгляд упал на лунный блик. «Улететь бы сейчас туда, ко всем чертям от этих проблем... Отказаться?... Что я ещё умею?... Да ни хрена ты не умеешь и никогда не умел...» Словно чужой голос больно кольнул в самое уязвимое место, напомнив о разбитых мечтах и ожиданиях. «Что я скажу им?... Да и что сказать, когда им одно только слово нужно...»

Он протянул руку, нащупал на столе пачку сигарет и зажигалку. Хотел прикурить, но ясно представил себе запах табачного перегара в комнате с утра, вздохнул и поднялся с кровати. «Надо форточку открыть...» Старые доски пола жалобно заскрипели. Он недовольно поморщился. Мысль, что даже вещи противопоставляют себя ему, неотвязно преследовала в последнее время. Зажигалка не работала. Он пощелкал несколько раз, надеясь выбить искру. «Дерьмо...» Небрежно бросил сигарету на стол и вдруг, не выдержав, с размаха швырнул зажигалку о пол. Пластмассовый корпус с треском разлетелся на куски. Тело трясло мелкой дрожью. «Неужели я отсюда никогда не выберусь?..»

За окном лежал ночной двор. Черные силуэты деревьев, бесформенные очертания гаражей, согнутые, проржавевшие качели как символ украденного временем детства, разбитая асфальтовая дорожка, изорванная колесами машин земля, глубокие колеи в грязи, пятна света, танцующие нереальные танцы с тенями под завывания ветра.

Сколько ночей провел он так, бесцельно бродя по городу или проста-

ивая у окна в ожидании каждой новой весны, с жадностью вдыхая свежий, приторный запах обнажившейся после долгой зимы земли? «Но весна все-таки наступала, хотя каждый раз было страшно, что она могла так и не наступить...» Вспомнилась любимая фраза из Хемингуэя. Он грустно и нежно улыбнулся; слова чуть ли не впервые остались просто словами... «Сейчас даже спрятаться за ними не получается... Почему я не могу отказаться?.. Последний шанс?.. Неужели я, и вправду, ни на что не способен?.. В этой стране даже проиграть достойно невозможно... Надо быть просто все время в игре... Может, потому и не могу отказаться, не начав даже заведомо проигрышную партию... Ещё один шанс проиграть по-крупному... Последний раз... Что я ещё могу сделать?.. Иностраннный легион?.. Несколько лет... Счет в банке, французское гражданство... А в результате?.. Нет, это последний вариант... Если ничего больше не останется... Господи, что со мной сделала эта страна!..»

Дико хотелось курить – хоть чем-то успокоить распатавшиеся нервы. Он вышел на кухню и, не включая света, на ощупь нашел спички. После пары затяжек исчезла дрожь в теле, и расслабились мышцы. «Ладно, – сигарета медленно тлела между пальцев, – черт с ним со всем, может завтра что-то прояснится...»

Уже лежа в кровати, беспомощно цеплялся за незнакомое понравившееся лицо, опять неожиданно всплывшее в памяти, пытался дорисовать ускользнувшие при встрече детали, не сразу заметив параллельную мысль, постепенно заслонившую все остальное. Все ещё глупо улыбаясь, вдруг почувствовал новый подвох. «...Сколько нужно денег, чтобы купить дом за границей?.. Тысяч сто?.. Или больше?.. Ещё счет в банке... Человек пятнадцать – двадцать... Ч-черт, о чем я думаю?!» Простыня сбилась в комок. Он поднялся, расправил ее и сел на кровать. Рука автоматически потянулась за сигаретами. «Где решение?.. Всего «да» или «нет»... Одно слово... «Механически покрутил пачку в руках и бросил на стол. «Одно слово... Как же я их всех ненавижу...»

Встал, подошел к стене, уперся в нее лбом и положил обе ладони на прохладную поверхность. Сон полностью ушел, оставив гнетущее ощущение надвигающегося утра. «Что я ещё умею?.. Что?..» Резко отвел голову и с силой ударил о стену... ещё раз... И еще... С единственным желанием выбить само воспоминание о том предложении... Перед глазами поплыл туман, колени противно задрожали, из рассеченного лба тонкой струйкой полилась кровь, пачкая обои. «Как же я вас ненавижу...» Чтобы не упасть, вцепился судорожно в подушку, сделал пару шагов и свалился на кровать. Кровь заливала лицо, стекала по щекам на подушку. Он вытер ее рукой,

поднес к глазам потемневшую, влажную ладонь и тихо засмеялся. «Позер херов... Легче стало?..» На глаза навернулись слезы. «Ещё немного, и я сорвусь...» Ныла шея, кровь мучительно ударяла в виски.

Он закрыл глаза и представил лицо вчерашней девушки. Отчего-то захотелось найти ее, отдать остатки нерастраченной нежности, почувствовать тепло чужого тела, вкус влажных и мягких губ... «Киллер...» Слово было, как хрупкая игрушка – предмет зависти и восхищения друзей в детстве. «Детство, он попытался усмехнуться; слабое движение отозвалось болью в голове, – нечего даже вспомнить... Киллер... Господи, ну почему я?..»

...Большие, тяжелые капли дождя, тонкими струйками стекающие по спине... Мутный свет фонарей какой-то давно забытой улицы... Прозрачные лужи на сыром асфальте... Пузырящаяся, будто живая вода... Тишина и одиночество, если бы не дождь... Ветви берез, выступающие из темноты... Когда это было? В каком году?.. Мокрые волосы, пахнущие весной... Огромные серые глаза полные сомнения...

Где-то за стеной отвратительным металлическим лязгом отозвалась чужая жизнь. Не открывая глаз, он повернулся на другой бок, ожидая продолжения. В полудреме сам начал дорисовывать упущенные подробности, но сон не держался, постепенно тая, пока, наконец, не пришлось отказаться от безуспешных попыток... Неосознанным жестом потянулся к столу, вытащил из пачки сигарету и засунул в рот. Ни зажигалки, ни спичек не было. «Ах, да... зажигалка... и спички на кухне...» Осторожно ощупал опухоль вокруг лопнувшей кожи. Засохшая корка крови, ушибленная кость... С каким-то безучастием, удивившим даже себя самого, подумал, что через пару дней все пройдет. «Шрам, наверно, останется... Да ладно, бог с ним...» – раздраженно, перебивая собственную мысль вернулся к предложению, на долю секунды все же успев усомниться, не приснилось ли оно ему.

К чему он пришел? Чужие жизни, равные загнутым пальцам на руке... Нехитрая арифметика в уме. Чужие жизни... Шкура не убитого медведя... Что они значили, когда не было возможности устроить даже свою судьбу. «Потерянное поколение... Чему удивляться?.. Каждый просто пытается выжить и в меру сил устроиться... Этика отдельного человека,» – он растерянно усмехнулся – «и где? В стране, где общество предлагает единственное безальтернативное решение и само же наказывает за свою систему ценностей... Ценностей...» Сильно зажмурившись, он глубоко вдохнул и долго, пока не заболели глаза, вглядывался в расцветенную оранжевым черноту.

Растерянные как-то незаметно друзья и перспективы, давно забытые мечты и амбиции... Где все это сейчас? Неужели все для того, чтобы остаться наедине с этим предложением в захлавленной комнате старого дома,

наедине с тишиной и собственным страхом? Как ни крути, а выходило именно так...

Часто вечерами он одевался и уходил бродить по спящему городу, спасаясь от нестерпимого, почти физического ощущения удушья. Пожалуй, так было всегда, сколько он помнил себя... Потом была война, контузия... Зная, что обманывает себя, он все же продолжал считать началом всех своих нервных и моральных срывов именно войну. Так было намного удобнее, по крайней мере, находилась точка отсчета, за которую можно было зацепиться, чтобы привязать к ней и неуравновешенность, и свои неудачи. Война расколола сознание, сделав его тем, чем он был сейчас, сломала и из кусков собрала нового человека. От старой жизни – нереального книжного мира – осталась лишь лицемерная потребность обращаться к совести, как многолетняя привычка, с которой давно сжился и уже не обращаешь на нее внимания, и умение оправдывать любое действие рациональными причинами...

Ночь успокаивала почти полным отсутствием людей и тишиной. Огромный вымерший город. Появлялась даже иллюзия того, что не все ещё потеряно.

Он улыбнулся, вспомнив, как месяц назад ходил по городу, засыпанному снегом. Нарочно шел, не выбирая дороги, проваливаясь в сугробы, с наигранным усилием передвигая ноги. Оборачивался иногда посмотреть на собственные следы, двумя темными колеями выделяющиеся в мягком свете фонарей... «Может на улицу выйти?..» – совсем неуверенно спросил себя, ожидая твердого отказа, заранее зная, что не пересилит себя, не сможет даже подняться с кровати... Лень.

Небо за окном серело все больше, селя в душе беспокойство и страх. «Что я ещё могу?» Лежа, он прислушивался к воспоминаниям и ощущениям. Пытался воскресить в памяти безликие фигуры, встречавшиеся иногда на пустых улицах. Уже тогда он смотрел на них, как на мишени... Ничего ни ужасающего, ни волнующего... Просто мишени... «Какая разница, чем я займусь, если давно уже не нужен даже самому себе... Все равно кто-то получит эти деньги... Почему не я, в конце концов?.. Жизни... Смерти... А посередине я ... Год, два – и все... И ради такой ерунды столько нервов... Смешно...» Потянулся было за сигаретой, но вспомнил, что нет спичек. «Ч-черт, а?.. Может монету подкинуть?.. Решка – нет, орел – да... И сразу позвонить, чтобы не успеть передумать?..» Решение было настолько глупым и простым, что он заулыбался, предчувствуя, что найдутся тысячи оправданий и аргументов «за» и «против», что бы ни выпало.

«Что я ещё умею?..» Первый раз мысль появилась как простая конста-

тация факта, не напугав и не разозлив. Он посмотрел на оборванные местами обои, выцветшие вырезки из журналов на стенах, до которых не доходили руки снять, и устало прикрыл глаза. «Наверно, ничего...»

Не было ощущения чего-то аморального или внутреннего разлада в том, что все так быстро и просто определилось. Одновременно пропали страх и неуверенность. И уже проваливаясь в сон, с удовлетворением и смутной, неокрепшей ещё радостью по поводу принятого, наконец, решения подумал, что все-таки отыскал свою нишу в жизни, пусть и не самую лучшую... «В конце концов, кто виноват, что в этой стране мне не нашлось другого места?..»

Весна 1999 года

Семён Гринберг

КАК ЭТО БЫЛО, ТАК И РАССКАЗАЛ

* * *

Бывая завсегдатаем столовых
Столицы и далече от Москвы,
Под занавес случился, где, увы,
И камни за отсутствием травы,
И много меньше жён белоголовых.

Душа-печальница, кому как ни тебе
Витать посереда неизъяснимой пьянки -
Чтобы футбол крутили по трубе,
И пепельница из консервной банки.

И чтоб намусорено - груды шелухи,
Окурки, пробки, телеса растений,
И чтобы кто-нибудь рассказывал стихи,
Про то, что много стало приведений.

* * *

Пока мерзавцев сотни три
Готовятся сойти на берег,
На это дело посмотри
Без удивленья и истерик.

Придут такие времена,
Когда догонишь, может статься,
Что доля всё-таки одна
И больше некуда податься.

И позабудешь городок,
Который чуть ли не деревня,
Где от реки плывёт гудок
И, где ни попадя, деревья.

И кто-то под окном орёт
И кличет Лиду или Люду,
И по снежку мужик бредёт
Сдавать стеклянную посуду.

* * *

Стакан, нет, два стакана красного вина –
Часть натюрморта на стене конторы.
Не знаю, кто его таким красивым написал.
Стол, освещённый солнцем из окна,
Покрытый белой тканью, на котором
На блюде баклажановый овал.

Помимо этого и прочих овощей:
Чилийский перец, лук, маслины, помидоры,
Стеклянный таз грибов (похоже, мухоморы)
Стоящий просто так, я бы сказал, ничей.

Ещё кувшин цветов. И женская рука,
Что обошла кругом и всё предусмотрела,
И до всего коснулась слегка,
А после канула, как и лицо, и тело.

ОДНОГОДКИ

Еще один ушел. А в общем всякий раз
Припоминал как по Москве шатались,
И женщины преследовали нас,
В том смысле, что повсюду попадались.

Прелестницы, в одеждах колдовских,
Умелицы походки грациозной,

Встречались в самых неожиданных местах,
В скульптурных, скажем, мастерских,
Что были в церкви Троицы в Листах
На Сретенке у площади Колхозной.

НЕЗНАКОМКА

Она пришла не в час назначенный,
А от семейного врача,
Распаренная, как из прачечной,
И поминутно хохоча.
И остывая, щебетала
Про детство трудное в Уфе,
И между делом возлияла
И становилась подшофе.

Мы все бывали молодыми,
И проживали далеко,
И были здания простыми,
А не барокко-рококо,
И разгильдяи кайфовали
В немногочисленных кафе,
И за окошками сновали
Ремни, фуражки, галифе.

* * *

Приятель мой, давно уже покойный,
Да, и при жизни удивительно спокойный,
Живал на самом краешке Москвы.
Тогда мы сами обитали с краю,
С другого, впрочем. Я припоминаю
Футбольную площадку без травы,
Дома-коробки, ржавые сараи...

Случилось, что пошли, едва ль не косяком,
Поминки, похороны, всякое такое

Печальное, бывало и смешное,
И глупое, когда вчера казалось пустяком,
А нынче, глядь, и нету человека...
Потом подряд ушли два или три генсека.

Про эти времена, кто помнит до сих пор?
В чаду очередей за водкой по талонам,
Подкидывал слова в бездонный разговор
И злоупотреблял Тройным одеколоном...
И не подозревал, что это перебор.

* * *

Случайностей неведомая скала,
Или, что то же самое, шкала,
Все сравнивала, полоскала
В пучинах нечувствительного зла.

Вулканы, наводнения, пожары
Несли и разорение и смерть,
Бомжи, что то же самое, клошары,
Сожгли, что и не думало гореть.

Но дерево с обугленной вершиной
Осталось на зеленом буторке,
А Хрусталеv замешкался с машиной
И Берию пришили в закутке.

* * *

С утра, когда в квартире никого,
Ни родичей, ни криков на площадке,
С газеткою, а в ней бутылка водки.
Зашёл сосед, побрал бы чёрт его,

И сел за стол, нимало не смущен,
Дела бывые поминает он,
Издалека, сначала о погоде,

Но не о той, что нынче происходит,
А из доисторических времён.

– Тучи, – бубнит он, – над городом стали,
Тучи народу на дело согнали,
Флаги колышутся наперевес,
Тяжкая музыка льётся с небес.
Красная площадь. Хоронят генсека.
Взявши по маленькой на человека,
Мы утекли, так сказать, сообща,
Каждый с чекушкой в кармане плаща...

Время течёт, персонаж продолжает,
Нимб и сиянье его окружает,
Капли сбегают по складкам лица.
Чашу сию я допил до конца.

* * *

Лет двадцать пять тому я вышел из метро,
Где был Дзержинский, то есть на Лубянку.
Там Шерлок Холмс, Мегрэ и Пуаро
И день, и ночь, и снова спозаранку,
Пуская в дело вечное перо,
Разоблачали всех, кого попало,
Влача из кабинета до подвала.

А то вечер, когда ещё светло,
Две, так на вид, одесские еврейки
Судили и рядили на скамейке,
А я смотрел на них через стекло.

Ещё солдат, совсем немногих лет,
Сидел отдельно, скажем, одиноко.
Наш экипаж дошёл до виадука,
Где некогда, не посреди, а сбоку,
Стоял автобуса обугленный скелет.

И здесь, и там я как бы ни при чём,
В Россию не заманишь калачом,
А тут на рынке Маханэ Иеуда
Хожу, интересуюсь, что почём.

* * *

Про дела, с позволения сказать, про смешные дела,
И другие проделки, сходявшие с рук,
Всё запомнят и сохранят зеркала,
Или люди, которые были вокруг.

А уж эти, казалось, вообще ни при чём,
Заглянувшие, было, на пару минут,
Но рассказывать станут, хотя кое в чём
И соврут.

И не только дела и слова, но места,
Говорят, даже улочки стали не те,
Жили-были, а нонече лишь красота,
Так сказать, в наготе.

Был ли город, как пишут, знакомый до слёз,
До оранжевых тех сигарет, папирос,
До троллейбусов, платьев пониже колен,
Слов опавших – трельяж, шифоньер, гобелен,
До по Кировской вниз, не дойдя метров сто до Кремля,
Где подписка прошла на собрание Эмиля Золя.

* * *

Где птицы разные и кошки всех цветов,
Слегка дыша духами и туманом,
Купившая букет, объятый целлофаном
У местной у торговщицы цветов,
Присела на скамью.
И это всё?
Да, это выглядит по меньшей мере странно,
Но так советовал учитель наш Басё.

* * *

Как это было, так и рассказал.
Сначала был заброшенный вокзал,
А в нём большая выставка искусства.
Там было всё – абсурд и авангард,
И женщина смотрела натюрморт,
А рядом что-то толковал Бергот,
Писатель из семи романов Пруста.

Она ему заглядывала в рот
И млела, так сказать, в тени авторитета.
Понятно, что у них всё было на мази.
Но, боже, как она была одета!
Как ослепительна была мадмуазель Одетта де Креси!

Марк Зайчик

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА БОКСА

Началось с того, что он поссорился со сменщиком. Тот появился на 11 минут позже положенного времени. «Извини, не специально, так получилось», – сказал он. Яир раздраженно прошипел, отодвигаясь от отверстия в стене с биноклем: «Можно и поточнее, а то я и так устал, как пес, а тут ты, вразвалку...» На таком задании минута идет за час. «Не ворчи, не ворчи, там тебя уже койка ждет с мягкой теткой и пружинными сиськами», – не ловко шутканул сменщик, и Яир чуть не засадил ему в лоб за такие шутки. Домой не выходили уже четвертую неделю, нервов накопилось в соответствии с усталостью. Этот гребаный А.И.К. не высовывался и не появлялся, только приходили к нему гонцы из разных мест, скрываясь за высоким забором, но не скрываясь от наблюдателей. Гости фиксировались ребятами на видео, никто ничего, кроме этого не предпринимал, чего-то ждали. «У моря погоды», – думал Яир.

Сменщик его добродушно сказал, что Яир не тот, по словам отбравшего в часть новобранцев офицера-психолога, человеческий материал, с которым можно чего-то сделать положительного. Яир отозвался на это, что, дескать, на себя погляди, положительный человеческий материал. Вышло грубо, и старший сержант третьего года службы Йони Преман, кажется, обиделся. Но виду не подал, отодвинул Яира плечом и пристроился на исходную позицию – шесть часов на жаре в полной тишине и покое с биноклем и видеокамерой наготове, с полной выкладкой, то еще развлечение, конечно.

Он был давно и прочно неприятен Яиру, хотя бы внешним видом. Но, справедливости ради, никакого повода к неприязни, что и вообще не принято в солдатских коллективах такого рода, Йони Яиру не давал. «Ничего не произошло, все тихо там», – сказал напоследок Яир, поворачивая на выход. Ящерицы сновали, шелково шурша пылью, залетали крикливые дятлы и вылетали из этой комнаты без мебели в доме с разбитой крышей на отшибе деревни Басмат в Иудее, что возле Иерусалима.

Яир, подобрав предметы воинской и человеческой необходимости, спустился на первый этаж дома. Пройдя за валунами метров 50 до первого поста с обязательной парой ребят из прикрытия, он залез в синий мини-автобус без центральных сидений. В салоне работал в полную силу мощный кондиционер. Двое 22-летних, остриженных наголо командиров подразделения, в защитного цвета необязательных футболках рассматривали бумаги за раскладным столом. Кивнув офицерам, Яир прошел к сиденью сзади и аккуратно сел, расслабив плечи.

Он достал из продолговатого вещмешка солдата действительной службы мобильник с большим экраном и включил его в подзарядку. Никто не звонил за прошедшее время. Один из командиров спросил 20-летнего Яира, вытянувшего ноги и сладко закурившего с закрытыми глазами: «Новостей нет, Шулоф?». Яир сказал, что нет новостей, продолжая курить.

Телефон дрогнул возле него. Яир подвинул его и прочел сообщение: «Очень жду. Люблю». Подписи не было, но она и не была нужна, Яир узнавал ее почерк и манеру разговора без представления. Полуобернувшись от стола, лейтенант Омри сказал внятно: «Ты выйдешь сегодня домой, Яир, на 24 часа, завтра в 14 ноль-ноль ты здесь, понял меня?». «Я понял тебя, командир, спасибо, буду точно», – произнес Яир обрадовано, он не ожидал такого подарка.

Все совпало, как будто было подстроено кем-то влиятельным, да так оно и было наверняка, известно, кто сводил дебет, как говорится, с кредитом. Напомню, что дебет с кредитом это стандартизованные методологические приёмы бухгалтерского учета. Они раскрывают возможности хозяйственных и других процессов и их направление и они же ставят границы этим возможностям, если говорить строгим и многословным языком словарей.

«К Якову зайдешь?!» – сказал Омри полуутвердительно. Яир кивнул, что «конечно, обязательно». «Передай привет от всех, не забудь», – сказал Омри. Яков был парнем из его группы, который три месяца назад заболел раком крови, был списан по инвалидности и теперь лежал в онкологическом институте при большой больнице в Иерусалиме. Лечащий врач у него был араб-христианин, замечательный специалист, лучший, наверное, но дела у бывшего солдата-снайпера армейской разведгруппы были не очень хорошие.

Чтобы не терять зря время, Яир мгновенно разделся и на улице облился холодной водой из пластикового ведра, стоявшего до поры в тени колючего непроходимого куста в человеческий рост. Плоды куста этого, очищенные ножиком от колючек, являются предметом местного фольклора. Они утоляют жажду и голод, насыщая обезвоженный организм путника

вне зависимости от его происхождения и веры всем необходимым для жизни.

В чистую форму, извлеченную из мешка, Яир влез без помех, застегнул вечные армейские ботинки на крючки и липучки, надел на плечо автомат с двумя магазинами и, протрившись, выскочил из автобуса, не забыв благодарно сказать Омри и его заму «спасибо вам». Дверь сытно щелкнула за ним, въехав по полозьям в положение «замкнуто». Яир быстрым шагом пошел по направлению к шоссе за бурым холмом и, мелко семеня, спустился к пыльной обочине дороги.

Через 25 минут он уже был в бронзово-белом городе Иерусалиме. Получилось удачно. Его подбросили ребята из внешней охраны, которые ехали в город по своим делам. «Сколько времени дали?» – поинтересовался старлей, сидевший на переднем сиденье джипа. У него были круглые очки без оправы, что придавало ему насмешливый вид книжочка и модного интеллигента. На плече его был к тому же обычный знак штабного бездельника, но выглядел он все-таки сильно, мощные ключицы бойца, под погоном его лежал алый берет десантника. Что, впрочем, не значило ничего в его биографии, все могло быть с ним и так, и этак. «До утра», – уклончиво ответил Яир, не потому что тайна, а потому что нечего все сообщать посторонним. Так обойдутся. «Ну-ну, тогда успеешь, все успеешь», – хмыкнул старлей. Насмешник, как мы уже заметили. Солдат за рулем засмеялся радостно и одобрительно.

У входа в парадное своего дома в двух шагах от нового кампуса университета Яир встретил пожилого соседа. Это был дядя Марат, русский журналист, приехавший в страну в одно время с родителями Яира, то есть 42 года назад. Этот толстый, несуразный пузан, некогда, совсем еще недавно, лет 5-7 назад, jovialный привлекательный мужчина, был безобразно пьян, растрепан, неряшлив. Середина рабочего дня, жара за 30, Марат, покачиваясь, стоял у стены возле входных дверей, пытаясь найти равновесие и поджечь сигарету. Яир усадил Марата, который все время сползал на пол, на металлическую скамью у входа. Яир поджег ему сигарету и дядя Марат счастливо затянулся.

Сигареты у него были датские, спички испанские, а сам он был немолодым нетрезвым лицом еврейской национальности. Сигаретный дым был пронзительным. Мать дяди Марата умерла пару лет назад от старости, и дом его немедленно начал распадаться на молекулы. Так бывает, мать все держит. Мать его жила вместе с семьей Марата, была темнолицей, суровой старухой, на ней все держалось в семье. Во всяком случае, дядя Марат так не пил, побаивался или стеснялся матери, неизвестно, но не пил, так не пил.

Он поглядел на Яира, помахал перед собой кистью, разгоняя дым, и ска-

зал: «Нас спасет только любовь». Полтора года назад дядя Марат примерно в таком же состоянии, но в другую погоду говорил Яиру, пытавшемуся довести его до дома: «Нас спасет только ненависть». Противоречия не посещали его, он был цельным человеком, дядя Марат. Только ширинка у него была иногда расстегнута. Яир хорошо все помнил. Он посидел с соседом, убедился, что тот устойчив и взгляд его осмыслен, как у приходящего в себя пьяницы. Тогда Яир простился и ушел, провожаемый мрачным, синим взглядом дяди Марата. Глаза у него были совершенно такими же, как у его покойной матери, Яир ее прекрасно помнил, даже мороз шел по коже от этой памяти.

Через 4 минуты Яир открывал входную дверь своего дома на пятом этаже семиэтажки невзрачным ключом, не поддающимся подделке. Этот ключ он хранил вместе с ножом и отверткой в брезентовом чехле, прикрепленном к поясу на армейских брюках. Брат его Адам и 7-летняя сестренка Рахель, вернувшиеся из школы, ели на кухне перетертый тыквенный суп, любимое произведение их мамы.

Рахель бросилась с разгону Яиру на шею, шепча, что «я так рада тебе, так рада». Адам стоял подле, глядя на брата исподлобья блестящими от счастья глазами, – Яира тут любили, точнее, обожали. Он послал Адама за пищей в забегаловку на другой стороне улицы, по которой глухо прогремывала машина с газовыми баллонами. «Двойную семейную, понял?» – спросил вдогонку старший брат. Адам даже не кивнул, такой опрометью бежал. Яир переоделся, приняв еще раз холодный душ. Холодный, потому что о горячем или даже теплом было страшно подумать, а не то, что принять его.

«У нас знаешь, новый мальчик в классе, звать Яша. Все его дразнят, насмеются над одеждой, над речью, над именем, а я защищаю его, даже подралась, знаешь, почему?» – тихо спросила Рахель, по семейному имени Рохале, сидя у брата на коленях. Она шептала Яиру эти слова на ухо, трудно было разобрать.

«Я знаю», – сказал Яир. Заболевший напарник Яира тоже был по имени Яша, настаивал на этом имени, вроде бы как память об умершем родственнике. Никаких Коби или там Шуки, только Яша. Все его так и звали, – Яша. Яир на него полагался во всем, включая частную жизнь и прикрытую спину. Никогда этот Яша его не подвел, Яир его тоже. Может быть, из-за этого Яира раздражал Йони Преман, кто знает. Привычка к людям – большая сила. Заболевшего Яшу в доме Яира все очень любили. Он часто приходил к ним еще здоровым, играл с детьми, смеялся и рассказывал разные истории, произнося слова со своим тяжелым русским акцентом. Рохале ездила на нем верхом, Адама он учил приемам дзюдо, с отцом Яира Яша играл в шахматы, трогательно проигрывая выигрышные позиции.

«Правильно, Рохале, молодец, новеньких и слабых надо защищать всег-

да, так написано, приказано», – осипшим от волнения голосом сказал Яир. Его буквально заклинивало от всех этих странных совпадений имен и ситуаций, он находил во всем происки судьбы. Главное же состояло в том, что он был, наверное, прав. «Давай маме позвоним», – попросила Рахель. «Я уже звонил ей, она придет как можно раньше, но до 5 просила не ждать». «А папа?». «А папа в семь, как всегда, у них строгое производство».

Отец их работал на военном предприятии в 22 километрах от Иерусалима, если ехать из города по главному шоссе на юг. Среди холмов, поросших сосновым сухим лесом, где Яира учили ночному ориентированию как-то в армии, расположился их хитрый завод. «Мама сказала, что девочки не дерутся? Кто тебя научил, спросила? Вообще...А меня Яша научил, помнишь?!» – сказала Рохале доверительно брату. «Девочки дерутся, еще как, ты даже не представляешь, как, а Яша плохому не научит, ты хорошо сделала, что его не выдала, образ должен быть цельным». «Что такое образ, Яир?». «Образ это ты и все, что я о тебе думаю и знаю». «Не очень мне ясно. Мне Идо в классе сказал, что я красивая, как заря, ты тоже думаешь, что я красивая?» «Я это всегда знал и знаю, потому что ты красавица, Рохале», – сказал Яир.

Вернулся Адам с двумя коробками горячей пиццы. Все ринулись к столу. Обед получился оптимистическим и обнадеживающим, а главное очень вкусным, мать бы им не разрешила есть такое и так быстро разговаривать с набитым ртом и хохотать напропалую за столом по поводу глупостей.

Яир получил сообщение от своей женщины, что через полчаса она будет дома. «Я пойду, ребята, у меня дела, вернусь не поздно», --сказал он и засобиравшись. Рахель смотрела на него, как взрослая, сумеречно. Все-то она понимала. «Не бегай за транспортом», – сказал Адам. «К Яше пойди и передай от меня поцелуй, я его люблю», – сказала Рахель. Они вели себя, как старшие, опекали братика-несмышлениша. «Считай, что уже», сказал Яир и побежал вниз пешком, никаких сил ждать лифт не было. Сложное ощущение чьего-то невидимого сопровождения жило в нем уже несколько дней. Никак от этого было не отделаться. Как будто неприятная заноза какая в безымянном пальце.

У неприглядного входа в дом, которому, между прочим, было уже лет 46, все еще сидел дядя Марат, на шее у него было банное полотенце. С ним был еще один человек, который держал его под руку. Оба были пьяны и говорили громкими голосами по-русски.

«Скажи, Яир, ты знаешь, что такое тимпан? - спросил дядя Марат и сам же ответил, – это барабан такой древний». Его друг, такой же седой, плотный, но чуть младше и много тоньше смотрел перед собой, думал русскую думу.

«Погоди, не беги, Яир. Нас спасет только любовь, ты запомнил? Надо

запомнить. Я вот тебе что прочту сейчас, только ты попытайся понять», – и дядя Марат сказал:

И море, и Гомер - всё движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

«Ты понял, Яир? Понял?! Ничего ты не понял, все движется любовью. Ступай, вижу, что горит у тебя, беги».

И Яир сиганул через улицу, как застоявшийся конь, ловкий и сильный, похожий на молодого иностранца, приехавшего с родины своего отца для отдыха и развлечения в Иерусалим. Он был в белой футболке без ворота, в своих лучших кремовых холщовых брюках, так называемых та-нахических сандалиях и американской кепчонке, надвинутой на острые прозрачные глаза.

Он мог побежать к трамваю внизу под мостом на север, но там все было неизвестно, сколько ждать и сколько ехать, уютно тренькая на поворотах. Очень это мило и уютно, но не для сегодняшнего дня, всему свое время, как говорят. Яир длинными шагами побежал к подъезжавшему на остановку у продуктовой лавки четырех братьев Коев, на бесшумном ходу автобусу номер 4, полупустому в этот час.

«Видишь, бежит как на последнюю гастроль, наследник, тьфу-тьфу, только бы не сглазить», – сказал своему другу дядя Марат, кутаясь в широкое махровое полотенце бордового цвета. С ним не все было понятно, никакого шу-шу, шу-шу, он произносил слова громко и внятно, тоже можно было понять человека. Вы выпейте с его... и тогда, возможно, вы поймете его бессмертную душу с большим трудом и большим душевным усилием. «Кого?» спросил друг дяди Марата, глядя без особого смысла на тщательно выметенный асфальт тротуара.

Яир вышел в центре, безуспешно пытаясь стряхнуть с плеч и спины этот пронзительный, непонятный, весомый сопровождающий его взгляд, тревоживший покой довольно настойчиво и дерзко. Перейдя главную улицу наискосок, он прошел мимо почты и восточной забегаловки в узкий переулок возле большого универмага. У входа в универмаг аккордеонист, сидя на складном стуле, уверенно играл и душевно пел «Варяга». Рядом пара заокеанских клетчатых туристов фотографировалась на фоне спитого бурого лица исполнителя и его потертого немецкого аккордеона, типа трофея с полей (из домов, вернее) времен Второй мировой.

На первом этаже ее дома располагался плохо освещенный канцелярский магазин с кипой тонких тетрадей на прилавке. Сердечная подруга Яира жила на квартире вместе с родителями и сестрой. Она была млад-

шенькой, вернулась из армии по беременности, которую не хотела прерывать, и теперь жировала на досуге, подрабатывая в компании мобильной связи. Дома она слушала по третьей программе радиомузыку, прилипчивые мотивы и песни, глазела в дорогой альбом с французской живописью, и бесцельно не без лени ходила босой из угла в угол по квадратной гостиной с высоким потолком и необязательной мебелью не в тон.

Не думала ни о чем, просто ходила и улыбалась. В армии она тоже служила в связистках и вот дослужилась. На Яира, отца своего будущего ребенка, у нее были особые пронзительные планы, связанные с браком и даже с новой дружной большой семьей под сенью сверкающего неба святого города Иерусалима. Ей было 19, Яиру было почти 20, самое время, самое то, беспечные, веселые, бесследные года. Хм.

Он шагнул в темный подъезд в сопровождении пары наглых сизых толстых голубей, которые, потеряв всякий стыд, настойчиво требовали от него, наступая на сандалии, кусок хлеба или, на крайний случай, горсть семечек. И не отставали от него до тех пор, пока он не захлопнул дверь за собой. Птицы остались очень недовольны, но сделать было ничего нельзя, и они ушли ни с чем, выражая сожаление горловыми звуками своего непонятного для людей языка. Из почтового ящика седьмой квартиры он достал на ходу два конверта, один из которых, плотный и тяжелый, был из Рабочего банка. Надпись на конверте предлагала адресату расти вместе с банком вверх до небес. Ну, что ж, подумал Яир взволнованно, будем расти.

Поднимаясь по лестнице на третий этаж, Яир физически почувствовал, что кто-то наблюдает за ним изнутри его кровеносных сосудов что ли, откуда-то оттуда и что от этого ему не отделаться и не избавиться, это просто невозможно. Он взволновался еще больше, хотя, казалось бы, куда еще. На последнем затоптанном лестничном пролете перед ее дверью Яир одним движением расстегнул ширинку, зайдя в дом привычным и прочным хозяином. «Здравствуй, дорогая Аяла, цветок мой, здравствуй!». Тяжкий вздох, счастливый хохот и веселый восторг. Именно так, тепло и приветливо, женщина встретила своего героя.

Тень ее смуглой большой груди была единственным и безупречным по форме предметом одежды его молодой любовницы. Яркая и бежевая кожа, прямые плечи округлой сильной формы, нежная безупречная шея и гибкие руки с полными локтями, поднимающимися в приступе непреодолимого желания, украшали ее изображение.

Их жизнь побежала вперед с запрещенной специалистами (кто такие, как звать?) скоростью. Излишне быстро. Они оба явно не успевали за нею, за этой жизнью. На полу в прихожей остались нераспечатанные ненуж-

ные конверты, принесенные Яиром. Блестела и выделялась алая надпись «Давайте расти вместе с Рабочим банком». «Давайте!» – повторил Яир.

Переместившись в спальню, едва успев захлопнуть входную дверь ногой, Яир уложил великолепную жертву свою на кровать и проник в женщину, задыхаясь от счастливых чувств. Сильный влажный спазм ее повергал его тело в сладчайшую бездну обладания. Он двигался в ней, сладко меняя ритм, периферическим зрением наблюдая ее искаженное лицо с распахнутыми глазами и раскрытым ртом в белой оправе безупречных зубов. Она вжималась в него, намертво держа руками, заставляя думать о болезненном и почти невозможном пробуждении обоих после всего.

Радиоприемник, включенный на музыкальную волну, играл популярную, известную во всем мире знаменитую лет 60 назад и дожившую до сегодня песню «Ты моя судьба». Напишем для общего развития и знания английский вариант этой роскошной, неотразимой фразы «You are my destiny». Такое чудесное совпадение, которое так любят киносценаристы Голливуда и других подобных мест, заставляло задуматься об играх провидения и таинственных законах любви.

Он остался в ней, ожидая повторения. Дождался. И еще раз. Он вообще, хотел бы остаться в ней навсегда, но ведь это невозможно, да?

«Тебя на сколько времени отпустили?» – спросила она почти небрежно. Голос ее звучал низко и глухо, в горле у девушки пересохло что ли. Она как-то помолодела после всего, ей можно было дать лет 12, максимум 13.

«До завтрашнего полудня», он выдерживал паузу, научился этому еще до армии.

«Я ноготь сломала, черт. Была вечером у Яши вчера, совсем без волос, лицо зеленое, держится. Ты к нему пойдешь?» «Через пару часов поеду», – ответил Яир. Он был опустошен и счастлив до неприличия. Разговор о Яше не подходил ему сейчас.

«Как там все наши?» – спросила Аяла, которая служила вместе с Яиром, Преманом, Омри и Яшей вместе, пока не забеременела. Аборт она делать отказалась, да никто, включая командование и Яира, и не настаивал на аборте. «Женщина хочет рожать, святое дело, пусть рожает». Но списали ее тут же, нечего приюты разводить, здесь армия, понимаешь, а не Бог знает что. Выглядела Аяла впечатляюще, приходили специально ребята смотреть, не могли налюбоваться на поворот головы, на ногу, на руку, на улыбку и на рот штабной труженицы войны. Дружили они втроем: Яша, Яир и она, все иерусалимцы, особая каста. У Яши тоже были виды на эту девушку, но он не был настойчив, а то бы неизвестно, как дело обернулось.

«Сидят, ждут у моря погоды, с ума сходят, теряют квалификацию.

Сколько недель уже?» «Пошла девятая», – сказала Аяла. «Не тревожит?» «Пока нет, не особо». «Ну, и хорошо». А что он мог еще сказать.

Яир замолчал. Он рассеянно играл ее соском, чутко наблюдая за тем, как она реагировала на его прикосновения. Сосок другой груди он кротко и плотно держал во рту, так они любили. Живот ее, еще плоский и еще мягкий, вздергивался в такт движениям его языка. Она приподнималась, выгибая спину, а затем опадала. Прогибалась и опадала, вздыхая и охая, как взрослая. Ноги ее были вытянуты, как струны бесценной итальянской скрипки. «Ай-ай, гад, любимый, ай!», она сжала зубы на его плече и он тоже вскрикнул: «Ты что!». Она полежала тихо, слизывая кровь с него. «Прости меня, это неправильно понятая мною клятва в любви». И засмеялась громко, ненатурально.

Через полтора часа Яир поднялся с кровати, и, посидев немного, засобирался.

«Не думай, я с тобой все время, понимаешь! Надо как-то все зарегистрировать у раввинов, если ты не возражаешь», – сказал Яир, возвращаясь из ванной и неловко натягивая штаны, стоя на левой ноге.

«Это ты так делаешь мне предложение, да?» – спросила Аяла. Она покраснела неизвестно от чего, или от любви или от неожиданности или от всего вместе. Лукавство ушло из ее глаз. Иногда Яир замечает в ее лице черты ведьмы, это не мешает ему.

«Да», сказал Яир, полностью одетый, серьезный. Он приблизился к ней и взял за руку.

«Выйди за меня замуж девочка, я буду тебя любить, и нашего ребенка, буду заботиться о вас, через неделю приду, с Божьей помощью и мы купим кольца и все что надо, мне отец деньги даст, потом верну».

«А я думала, что ты не хочешь меня и наших детей, глаза выплакала. Я согласна, я хочу быть твоей женой, Яша будет нашим свидетелем».

«Только он, обожаю тебя, девочка».

В автобусе он сумел поспать минут 10, научился этому в армии, мог даже спать стоя, в шумной толпе. Рядом с ним сидел какой-то смутно знакомый старик, бородатый, в старомодной шляпе, с прямой спиной, он как бы оберегал сон Яира от посягательств пассажиров и объявлений шофера автобуса. Даже неловко, смущаясь, махал шоферу рукой, «не шуми, потише говори, видишь, – спит человек», когда тот называл следующую остановку слишком громко.

Яир заснул крепко и всерьез. Ему приснилось, как он ужасно боялся на первом выходе в ночное ориентирование. 2 часа ночи, абсолютная темень, дождь и ветер. Его выпустили одного и сказали так и так, найди пункт А и забери пакетик. Без оружия, без еды, только фляга с водой, куда

идти непонятно, лес шумит, гудит, завывает, страшно, все мокро вокруг. Ему 18 лет и четыре месяца. Разозлился и пошел, сердце стучит от страха, состояние на грани истерики. Только злость и спасла. Наконец, через три с половиной часа вышел к месту встречи, к нему вылез из-за куста лейтенант Омри и негромко сказал: «Просыпайся парень, больница, приехали».

Это старичок возле него осторожно и настойчиво возвращал Яира к жизни. Яир поднялся, сказал, не глядя, «спасибо вам» и двинулся к главному входу в институт раковых заболеваний, который был в стороне от больницы. Надо было пройти метров 300. Яир пошел, еще было светло.

Давешний старичок и еще три человека из автобуса пошли по той же дорожке за Яиром, который передвигался так, будто боялся не успеть. Яир знал, куда надо идти, и без помех прошел на второй этаж. В безупречно чистом коридоре ему навстречу попала рослая медсестра с плохо различимым лицом и в халате на голое тело. Она внимательно оглядела Яира – веселым и циничным женским взглядом прирожденного рентгенолога, но ничего не сказала и прошла мимо. В 8-ю палату он зашел, негромко стукнув два раза костяшкой указательного пальца, как они всегда делали в армии на учениях. Яир зашел. В палате было две кровати. Одна пустовала, хотя видно было, что она занята, просто сейчас человек вышел. На второй кровати лежал старший сержант запаса 20-летний житель Иерусалима Яша Островский, глазастый, внимательный, безотказный паренек с зеленого цвета лицом, голым черепом, широкими очень худыми плечами и книжкой на русском языке в руках. В вену между большим и указательным пальцами левой кисти была воткнута и приклеена куском пластыря к коже медицинская игла.

Яир осторожно пожал тонкую руку своего друга, который очень обрадовался ему. «Хорошо, что пришел, а то уж думал, что и не простимся», – сказал Яша размеренно. Нельзя было даже представить себе, что несколько месяцев назад он спорым, размеренным шагом отмахивал за ночь 25 километров по пересеченной местности с 40 килограммовым грузом на плечах, параллельно выполняя задачи, возложенные на него и коллег его командирами.

Яир поставил на тумбочку литровую бутылку с гранатовым соком, которую купил в ларьке возле дома Аялы. «Красное, хорошо для тебя», – сказал Яир. Яша ухмыльнулся и поглядел на Яира, как прежде. Выражение его лица говорило: «Ну, давай, продолжай, мне это не мешает, Рамбам столичный». Трудно было поверить, что он болен, если судить по звучанию голоса, по иронии и уверенности.

Неожиданно с пустующей кровати раздалась ария «Кармен» из одноименной оперы Бизе. Немедленно явилась пред Яиром красивая работница

табачной фабрики в Севилье, выходящая на авансцену полными бедрами вперед и гордо выпевающая известную партию. Он даже головой мотнул, чтобы отогнать наглую бабу с ее песнями от себя. Кармен исчезла так же, как и возникла. Она была ему не нужна сегодня. Энергичные шаги ее сильных ног прозвучали вдали и сошли на нет, как будто их и не было. Но вообще он помнил, как дядя Марат по неизвестному поводу говорил отцу, что «с женщинами, Толя, надо поосторожней, они, Толя, непредсказуемы».

Яир не хотел спрашивать Яшу о самочувствии, боясь испортить настроение больному.

Тот отложил книгу в сторону, скривив лицо от усилия или боли при повороте плеч и корпуса.

«Хорошо, что ты пришел, а то бы и не простились», – сказал Яша буднично. Он тяжело дышал. В это время дверь открылась, и в палату негромко зашел средних лет измученного вида мужчина, а с ним тот светлоглазый старик из автобуса, который будил Яира. Они, не здороваясь, прошли на свою половину, старик задернул плотную занавесь на колесах, отправившись в автономное плавание, подводник. Все здесь на этом этаже были подводниками, в известном смысле, конечно, подводниками.

«Наверное, нам надо проститься, больше не увидимся», – сказал Яша. «Мне очень больно это говорить. Судьба была ко мне несправедлива. Я кое-что понял, жаль что поздно. Ты спрашиваешь, что я понял, не скажу. Потом сам узнаешь, в свое время, Яир. Читаю вот Хармса, был такой замечательный писатель на моей той родине, умер в тюремной больнице. Очень смешная проза для детей, помогает мне. Вот я тебе сейчас прочту рассказ, переведу на месте, совсем коротко. Называется, «12 поваров».

«Я говорю, что на этой странице нарисовано двенадцать поваров. А мне говорят, что тут только один повар, а остальные не повара. Но если остальные не повара, то кто же они?»

«Вот этот рассказ», – сказал Яша.

Яир не засмеялся, но удивился.

«Надо бы нам выпить, жаль, что ты не сообразил», сказал Яша. – Теперь то уж чего, теперь, уверен, можно мне. А нету».

Яир дернулся, он не играл на этой встрече ведущую роль. Какая там роль, выйти бы из всего этого без потерь, без видимых потерь. Но сообразить про выпивку он мог. Скажем в оправдание, что все-таки он родился здесь и привычек другого места перенять не сумел.

Яшу привезли в Иерусалим из русского города с непроизносимым названием, когда ему было 5 лет. Он думал на иврите, закончил школу на иврите, служил в армии на иврите, но важные привычки сохранил русские, как то: чтение, выпивка, исполнительность, сентиментальность. И неко-

торые выражения, перенятые им у родителей и бабки. Например, «Жизнь прожить не поле перейти» (так говорила мать), «Говори веско и желательно умно, если не знаешь или не уверен – молчи» (так говорил отец), «Я последняя буква в алфавите», «Язык дан человеку говорить умные вещи» (а так, конечно, говорила бабка). И самое любимое и непонятное, а главное общее для всех: «В Тулу со своим самоваром не ездят». О смысле Яша догадывался, переспрашивать стеснялся, родственникам это казалось так очевидно.

В палату заглянул юноша в полосатом халате ученика знаменитого места в бухарском квартале Иерусалима под названием Стражи Веры в вольном переводе. Из людей, не склонных к компромиссу, ни к какому компромиссу. Только вера, только жизнь, только смерть, только Закон, так они говорят и живут. Он оглядел палату, ласково кивнул Яше и сказал, что зайдет позже. И скрылся.

«Они здесь ходят, спрашивают имя, молятся за прощение и спасение, дают медовые пироги со стола ребе. Лэках, называется. Замечательные ребята», – пояснил Яша. Раньше он так не думал и уж точно не говорил. Еще полгода назад.

Яир его слушал без удивления.

«Все кланяются тебе, передают приветы, на следующей неделе подъедут, только разберутся с этим придурком и приедут», – сообщил Яир, стараясь не смотреть на лицо Яши.

«Конечно, пусть приезжают, я жду», – отозвался Яша, он не знал, о каком придурке идет речь, но раз Яир сказал придурок, то это так и есть. Яша подумал, что неизвестно по поводу следующей недели ничего конкретного, скорее наоборот, но вслух не сказал, чтобы все это не выглядело дурацким горьким кокетством. И потом ломать чьи-то планы своим неудачным здоровьем он не был намерен, еще чего.

«С Йони хоть помирился?» – спросил Яша. «А я с ним не ссорился, чего мириться, просто раздражает, назойлив, как не знаю кто».

Стало темнеть и густеть за окном и в палате. За ширмой зажгли синий неяркий свет, как в поезде.

Яир отчетливо услышал знакомый голос старика из-за занавески: «Жить – значит страдать. И чтобы выжить, нужно найти какой-то смысл в страдании». Просто и сердито. Он в испуге посмотрел на Яшу, но тот ничего не слышал, эти чужие слова не были обращены лично ему. И занавеска была плотно задернута, чертовщина какая-то. Мало того, что неотступно и настойчиво следят, так еще и сообщают прописные истины.

Откуда он вообще взялся этот старик? Яир не знал этого. Он помнил рассказ отца о слежке в родном русском городе, где за ним ходила несуразная немолодая женщина с тортиком в руке, «у них очень развита фанта-

зия, контора веников не вяжет, думали, что я большой их враг, дураки, а я не враг, я - ненавистник». Отец сидел на кухне с дядей Маратом, они вспоминали минувшие дни, заедали водку местной селедочкой и повторяли, что «не хуже волжского залама, а?!» Про залом Яир спросил, получил путанный ответ от дяди Марата, но успокоился. Помнят, уважают, объясняют старички. Розовые горы Иудеи были видны в окошко их высокого этажа. «Примирает меня этот пейзаж», – сказал бешеный дядя Марат негромко. С чем примирает его пейзаж, дядя Марат не сказал.

На телефон Яира пришло сообщение: «Будь к 23:00. Есть надобность. Давай, не медли». Без подписи, но Яир знал, что это Омри, потому что «давай» было его псевдонимом. «Слушай, я пойду, Яша, мне нужно поспеть в одно место», – сказал Яир, поднимаясь. Яша поглядел на него и кивнул: «Давай, ты там, поосторожней, не рви, как конь». Он все понимал с полуслова про себя и друга, тянули все-таки вместе 14 месяцев с первого дня призыва.

Однажды они были в увольнительной в столице, все как всегда, 24 часа. Отдыхали бурно в кафе с неизвестными взрослыми дамами: пиво, водка, виски, опять пиво. Далее везде. Яша с ними легко и необязательно познакомился в Национальном банке в Рамат Эшколе. Уже на выходе из заведения, под проливным дождем, с висящими на их локтях хохочущими женщинами, Яиру неожиданно на мобильник позвонил отец. Оказывается, он ехал на машине в Рамот с дядей Маратом и на спуске у него случился прокол правого переднего колеса в его «гольф». «Из машины не выйти, дождь стеной, темно, может, выручишь, сынок?» – спросил отец почти жалобно, Яир услышал в его голосе 400 грамм водки и литр пива «Гольдстар». А уж про дядю Марата и говорить нечего. А ведь и не так и молоды.

У Яира был армейский «ситроен», дам отослали домой ждать (не обижайтесь, девушки, мы примчимся на крыльях любви-голубушки через час) и помчались на выручку. Действительно, машина стояла на крутом спуске, на черном глянцевом шоссе, дождь колотил в праведном гневе, подфарники мигали. Яша развернул «ситроен» и пристроился за «гольфом». Пересадили старичков к себе и за 27 секунд поменяли колесо, у них отработывалась замена колеса на скорость, было такое упражнение в их части. Лишние две секунды возни – это лишние две пули, ясно, давайте, парни, давайте псы Кавказа, шептал Омри привычную непонятную фразу.

Отец спросил: «А что это было, ребята?». Дядя Марат крикнул: «Сынки, горжусь вами, нас спасет только ненависть, помните». И они уехали дальше, читать стихи русского поэта по фамилии Мандельштам вслух и говорить о ненависти и любви и запивать эти чувства немереными столичными дозами самого дешевого алкоголя.

А ребята вернулись к дамам, были встречены с восторгом, без капризов, и трудились с ними, над ними, не покладая, так сказать, рук часов до 5 утра. Могли бы и задержаться, но в 6 нужно было быть обратно, как штык. Омри следил за дисциплиной ежеминутно, как сторожевой злой пес, каковым его, насмешника, заставляло быть звание, служебное положение и должность.

Однажды отец Яира поразил сына, подравшись с хулиганистыми юношами из соседней деревни. Конечно, ему посильно и активно помогал дядя Марат. Парней было 6 человек, они сами были виноваты во всем, точнее их воспитание и предвзятое мнение. Вся округа их знала. Их главаря звали Валид. Но, конечно, силы были все равно не равны. Ну, куда было этой дурной деревенщине против русских бойцов, пусть и иудейской веры, но великой советской боксерской школы золотозубого тренера Г. Кузикьянца. Двое были нокаутированы, остальные бежали. Но опять речь не про это. Яир выскочил из дома, когда уже все кончилось, дядя Марат, пытаясь, дышал на разбитый кулак и вытирал пот с кровью с небритого подбородка. Отец Яира сидел на асфальте, приподняв голову нокаутированного пацана, и свободной рукой осторожно стирал кровавый ступок со смятой скулы дурака, повторяя при этом смиренно: «Ну, прости меня, Валид-Вальядолид, идиота, если можешь, парень, я не хотел тебе сделать больно, мудила ты, грешный».

Подбежавшему Яиру отец сказал: «Я стар и безрассуден, пойдем домой, сынок». Последствий у этой истории, как ни странно, не было. Только Валид, работавший в лавке у братьев Коев разнорабочим, стал сдержаннее и при виде отца на улице смолкал и уходил за угол дома переждать возможную бурю. Отец очень этого стеснялся.

С тех пор ничего не изменилось, только Яша вот заболел, Яир стал старшим сержантом, а дядя Марат стал говорить, что нас спасет любовь.

Яир ехал в автобусе уже в темноте, поздно темнеет в Иерусалиме летом. Было мало людей. Давешний сухонький старичок сидел наискосок от Яира в другом ряду. Глядел перед собой, кажется, дремал. Не без труда автобус поднимался к горе Герцля. Притормозил на остановке, никто не сошел, никто не вошел. Шофер автобуса мягко тронул вперед.

Старичок спал, свесив голову, сохранял фасон. Шляпа его сдвинулась на затылок. Яир хотел помочь ему и придержать шляпу, чтобы не упала, но не решился, спит человек, не надо мешать во сне никому, кроме убийцы и кровопийцы, говорил Омри. Ясно было, что он имел в виду.

Яир отчетливо понял, что этот ветхий старичок в пиджаке снабженца областного советского масштаба он сам и есть, только проживший всю жизнь гражданин Иерусалима, который двадцать минут назад навестил

своего тяжело больного еще не родившегося сына от женщины по имени Аяла. И он еще вообще не женат, если помните. Конечно. Но тем интереснее и значительнее все. И как там у него все прошло и как все будет, неизвестно. Теперь это кино перед ним, он главный режиссер, главный зритель.

Вы скажете, что так не бывает. Возможно. Но в Иерусалиме, а дело происходит в еврейском Иерусалиме, как вы знаете, с еще бесконтрольно потребляющим алкоголь населением все может быть. Еще не все подъехали. Нет еще Виталика, Гершковича, Сереги, Абы, Семки, Миши, Генши и Зингера. Один дядя Марат, а что он может? Нету и Яши Островского, и отца Яира, и книги его любимого Владимира Евгеньевича на русском, пылятся и гниют в подвале. И дядя Марат, бедный, тоже в Гиват Шауле уже давно. А эти растворятся здесь, украсят народонаселение, разберутся с небом, помирятся с ортодоксами, поклонятся стражам веры, расцелуют им пергаментные руки, наведут порядок с алкогольным контролем и станут лучшими друзьями соседей. Или не станут. Здесь все может быть, абсолютно все. Так что, вот.

2013 год

Александр Юдин

ЛЕГКИЙ СПОСОБ

В кабинете сидят двое: человек лет тридцати в строгом деловом костюме – за столом, а напротив него, в низком кресле – мужчина под пятьдесят с помятым лицом и блуждающим взглядом; последний явно нервничает.

Человек в костюме некоторое время пристально смотрит на посетителя, а потом произносит:

- Вы слишком напряжены, Владимир. Расслабьтесь.
- Ладно, – кивает Владимир. – А вас, простите...
- Зовите меня доктором. Полагаю, так будет правильно.
- Как скажете.

– Поверьте, всё будет хорошо, – убеждает его доктор. – Я использую многократно проверенную методику Каррена Алла. Это самый легкий способ избавиться от зависимости.

– Угу.

Доктор выкладывает на стол пачку сигарет и коробку сигар, аккуратно расставляет – коробку слева, пачку справа. Пациент наблюдает за этими манипуляциями с недоумением и тревогой.

– Скажите, Владимир, – продолжает доктор, – вы сознательно решили расстаться с этой мерзкой привычкой?

– Да.

– И это действительно ваше решение?

– Абсолютно.

– Что ж, уже неплохо, – кивает доктор. – А с какого возраста вы пристрастились?

– С пятнадцати лет.

– М-да... А помните, кто предложил вам попробовать?

– Первый раз? Отец.

– Родной отец? – поднимает брови доктор, неодобрительно качая головой.

– Поймите правильно, в те времена это не считалось особенным пороком. Даже напротив, свидетельствовало о том, что юноша повзрослел, стал, так сказать, самостоятельным...

– Не стоит оправдывать то, что недостойно оправдания, – останавливает его доктор. – Главное, сейчас вы полны решимости перестать наконец кормить это маленькое чудовище. Давайте так, для наглядности, назовем вашу зависимость.

– Ну не такое уж и маленькое, – замечает Владимир, бросив рассеянный взгляд на коробку с сигарами.

– Конечно, – соглашается доктор, – тут все зависит от толщины кошелька. Хорошо, пусть будет просто «чудовище». Но, согласитесь, это именно чудовище. И оно просит, чтобы его регулярно кормили! Буквально требует: «Покорми меня! Покорми меня!». – Последние слова доктор произносит противным, визгливым голосом капризного ребенка. – А что вы получаете взамен? Задумывались над этим? Постоянный ущерб здоровью, как своему, так и окружающих. Риск в любой момент оказаться прикованным к больничной койке. Возможно, навсегда. И наконец просто умереть, не дожив до старости! Согласны?

– Согласен, – неуверенно кивает Владимир.

– А раз так, почему вы не бросили раньше? – резко спрашивает доктор, подавшись вперед. Теперь он угрожающе нависает над пациентом. – Отчего столько лет потакаете этому чудовищу? Можете назвать причины? Я слушаю, давайте! Давайте!

– Ну, понимаете, – начинает Владимир, – жизнь в городе – сплошной стресс. Да и работа у меня нервная. А эта привычка...

– Зависимость, – поправляет доктор. – И мы договорились именовать её чудовищем.

– Да, да. Так вот с ним я чувствую себя как-то комфортнее, спокойнее, защищеннее даже. Особенно в таком мегаполисе как Москва. И, наоборот, без этого дела вскоре начинаю нервничать, испытывать тревогу, дискомфорт. А то и вовсе впадаю в депрессию... Как-то так.

– А удовольствие от самого процесса испытываете?

– Бывает, – после легкой заминки признается Владимир.

– Всё правильно, – улыбается доктор. – А теперь слушайте внимательно. Сейчас я вас удивлю. Всё что вы перечислили: и чувство защищенности, и комфорт, и приятные ощущения – всё это лишь иллюзия. Да, да! Реальны только психо- и физиологические неудобства, которые возникают при длительном воздержании. Потому как это симптомы обычного абстинентного синдрома. Или ломки.

– Но позвольте, доктор...

– Не позволю! Вы хотите избавиться от своей зависимости? Так? А раз так, не перебивайте и верьте всему, что я вам говорю. Иначе эффекта не будет. Припомните-ка, разве до того как заработать свою зависимость вы чаще чем сегодня раздражались, впадали в депрессию? И наоборот, неужели с тех пор как вы превратились в раба привычки, невротические состояния сделались более редкими? Вот видите! Разумеется, нет! Так вот, на самом деле, потакая вашему чудовищу, вы никоим образом не защищаете себя от стрессов. И удовольствия тоже никакого не испытываете. Вместо этого вы просто снимаете неприятные ощущения, вызванные ломкой. Отсюда – ложное чувство комфорта и всё прочее. То есть практически всякий раз вы приходите в норму. Улавливаете? В норму! Иначе говоря, возвращаетесь в то состояние, в котором нормальный, здоровый человек, не подверженный этому вредному, пагубному пристрастию, пребывает постоянно. Согласны? Согласны?! Ну-ка, в глаза мне, в глаза! Да или нет? Нет или да?!

– Д-да.

– Вот и славно. Теперь добавим немного мотивации, дабы закрепить результат. Вы наверняка почувствовали, что в последние годы отношение общества к вам и вам подобным кардинально поменялось. Вместо терпимости, индифферентности, а порой и снисходительного одобрения – резкое повсеместное осуждение. А то и обструкция. Сегодня это не просто дурной тон. Сегодня это асоциальное поведение. А в публичных местах и вовсе – административное правонарушение. И подобная государственная политика – политика нажима и давления – будет только усиливаться. Скоро уже не останется мест, где бы вы смогли открыто предаться своему пороку. Во всяком случае, в городах и вблизи населенных пунктов. Что вы будете делать тогда? Уверяю вас, пройдет совсем немного времени, и безнаказанно отравлять воздух вы сможете разве что где-нибудь за городом, в пустынной местности. А оно вам надо? Стоит ли ваше чудовище подобных жертв? Подумайте над этим.

Владимир задумывается. В памяти послушно оживают картинки: косые взгляды сослуживцев, соседей по дому и просто прохожих. Он вспоминает, как при его приближении мамыши в ужасе спешат закрыть лица своих детей платочками или марлевыми повязками. Припоминается ему и недавнее выступление какой-то пучеглазой, похожей на рассерженную осу, депутатки от «Конкретной России». Как она тогда говорила? «Мы добьемся, чтобы рабы этой гадкой привычки повсеместно чувствовали себя гражданами второго сорта. Изгоями! Их не станут принимать на работу. На них начнут смотреть как на латентных убийц. И это справедливо! Ведь по сути они преступники. Они рискуют не только своими жизнями, но и постоян-

но, ежеминутно гробят наше здоровье! Почему мы это должны терпеть? Почему остальные обязаны по их милости дышать этой гадостью?!»

– Давайте смотреть правде в глаза, – продолжает доктор, – эта пагуба отнимает ваши время, деньги, подвергает риску вашу жизнь и крадет здоровье окружающих. Известно ли вам, сколько людей в России ежегодно гибнет от, образно говоря, лап чудовища, которому вы верно служите? Я вам скажу: тридцать четыре тысячи! И еще триста тысяч остаются по вине этого порока инвалидами. Причем, половина из них – невинные, пассивные жертвы. А в масштабах всего мира эта цифра приближается к полутора миллионам. Вдумайтесь в эти цифры. Ведь это же геноцид! А вы – его орудие. Ладно бы вы рисковали только своим здоровьем, так нет, вы подвергаете смертельному риску жизни тысяч и тысяч других людей, не страдающих такой зависимостью. Дети, старики, беременные женщины. Чем они провинились перед вами?

– Довольно, доктор! – просит Владимир, утирая пот со лба. – Я все понял. Осознал. Проникся. И готов завязать. Навсегда!

– Отрадно слышать, – кивает доктор. – Что ж, сдавайте ключи от вашего чудовища. Кстати, какой оно у вас марки?

– Джип «Гранд Чероки», – отвечает Владимир, дрожащей рукой протягивая ключи зажигания.

– Я лично прослежу, чтобы уже сегодня ваш «Гранд Чероки» пошел под пресс, – заверяет доктор. – Вот увидите, совсем скоро вы ощутите, что стали свободнее. Теперь не надо тратить деньги на бензин и ремонт, терять время на парковку и стояние в пробках, наконец волноваться, что кто-то угонит вашего монстра. Свобода! Кроме того, вы избавитесь от иссушающего чувства вины. Ведь в выхлопах вашего джипа – вся таблица Менделеева. Настоящая нацистская душегубка!

– Так-то оно так, – вздыхает Владимир. – Одна беда – от общественного транспорта я изрядно поотвык за эти годы.

– То беда небольшая! Вы скоро привыкнете. Метро удобнее, быстрее и надежнее. А главное, метро самый безопасный вид транспорта. Никаких пробок, никаких проблем с парковкой и расходов на бензин. И никаких вредных выхлопов! А если вас смущает запах немытых тел – эта проблема легко разрешима. Достаточно, прежде чем спускаться в подземку, выкурить сигаретку. – Доктор подвигает Владимиру пачку. – А лучше – сигару. – Пододвигает коробку с сигарами.

– Но я некурящий.

– Ничего, голубчик, закурите. Кстати, при выходе из метрополитена тоже неплохо подзарядиться никотинчиком. Снимает, знаете ли, раздражение и всё такое.

– Спасибо вам, доктор, огромное!

Владимир встает, но у двери внезапно оборачивается и робко спрашивает:

– А если я... куплю электромобиль?

– Не советую! Во-первых, так вы никогда не избавитесь от зависимости. Это будет лишь очередная подмена, обманка. Вроде той же электронной сигареты. А во-вторых, Дума постановила распространить на личные электромобили общие ограничения и запреты. Потому как они – скрытая реклама бензиновых авто. Вот так вот!

Ольга Мельникова, Алексей Мельников

ТЯРПИ, ЗОСЯ, ЯК ПРИШЛОСЯ!

Детство в Белоруссии, юность на Урале (1945-1961)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отродясь было как? Батька бранит бабушку! Обзывает ее по-всякому. Например, рычит: «У-у-у, грэба конотопская!» Грэбовать – значит «брезговать», грэба – «дрянь» или «грязь». Конотопы? Это родная вёска бабушки. Я два раза там была, и всегда – вместе с мамой. Сперва мы пришли, чтобы родню бабушки в гости позвать. А в другой раз – чтоб отказать им. Так велел батька, кто же ещё...

Мне там очень понравилось, всё там было богаче. И двор, и хата, и пол – дощатый! Именно дощатый, а не земляной! Тепла побольше, а блох поменьше. Миски на столе – сразу несколько штук, а не одна на всех, как у нас. Ещё псинка там была, а вот котьку я не помню. Как угощали нас? Огурцы солёные и сотовый мёд. Огурцы – со своей грядки, соты – из своих ульев. Да-да-да, пчелы были свои! У нас-то их не было. Не только у нас, во всей Куцевщине – ульи стояли только у Янковых. Это 1 всего – из 60 дворов...

Мне в Конотопах снова подумалось: наша семья – беднее всех! В Кичигино так уже не казалось. Все мы, приезжие из Беларуси, примерно одного достатка были. Одного достатка или одной бедности? Калгас есть калгас: «Я в колхоз пришла – // Юбка новая, // Я с него ушла – // Жопа голая...»

И полетит, и грохнется?

Была у нас песня: «Жаворонки, вы летите, // Летнего тепла несите, // Ведь зима нам надоела, // Весь наш хлебушек поела!» Птицы летят – это привычно. Вот самолёт – другое дело...

Помнится, это вышло в первое мирное лето. В 1945 году. Уже после

войны, но ещё перед школой. Я гляжу со двора – дети вулицей бегут. Выскочила за ворота, а там – чуть не вся мелюзга куцевская. И все бегут, и я – за ними. Вот бабин плац, то есть двор. Потом плац Адольшиковых, дальше плац Рахелевых. Потом – околица, за нею – поле. Не поле даже, а целина, ещё не тронутая плугом. И на поле – самолёт. Вот это да! Сроду-то было как – у нас, в колхозе имени Сталина? Грузовик проедет – так год будем помнить. А тут – самолёт! Кажется, это был «кукурузник» (ПО-2), а не «штурмовик» (ИЛ-86). Лётчик стоит, куча детей – и ни единого взрослого. Лето на дворе – народ во поле! Зачем самолёт сел? Может, сломалось что-то! Но не помню, чтобы лётчик что-нибудь чинить пытался. Вместо этого – возился среди детей, даже пускал их в самолёт. И вроде бы он дверцу открывал – сбоку, а не люк откидывал – кверху. Но не все лезли внутрь! Кое-кто (и я – тоже) сторониться начали. По-моему, лётчик даже прокатиться звал. Но не помню я, чтобы он катал...

Ну, я хоть как – кататься бы не стала. Бог его знает, как он летает? Может, сперва взлетит, а после грохнется? И костей не собрать, хоронить будет нечего. Короче говоря: «Нэма дурных – с тобой кататься!» Как улетел он – тоже не помню. Видать, я пораньше ушла с того поля. А позже на том поле – возились мы с камнями. Складывали их в груды аккуратные. Прежде – камни убрать надо, потом – землю пахать можно. Вот мы, школьники, там и вошкались ...

Не посадят, так накажут

Ох, эти какашки, будь они неладны! Самого малого (то есть меня) заставляли их выгребать. Из-под печки, где кур мы держали. Вернее, держали-то в хатке! А под печку куры – прятались от котьки. Отродясь его не кормил никто. И любую курку придушить он мог. Где куры прятались, там они гадили. А погадку надо – сдать на удобрение. Не удобрять свой огород! А отнести на поле колхозное. Чтобы вышло, словно в песне: «На нашем поле, поле калгасном, // Деньки проходят весело, ясно, // Дружно працуем мы громадою, // Знаться не знаем с горем-бедою...»

И вот я, бывало, встану на коленки или лягу на живот. И сгребаю какашки в ведёрко. Потом несу его, куда мне велено. Кажется, недолго все это тянулось! Поди, прислали к нам начальство новое. Где новый начальник, там новый порядок. Вот выдумал один такой – куриным говном поля удобрять! И потащились мы, детишки с ведрами. Потом начальника прислали нового. И нам таскаться не пришлось. На свой огород тащить тот помет? Не принято было! На свой огород – золу мы сыпали. И сыпали всегда, а не время от времени. Хотя в Беларуси земля – сама по себе плодородная. Куда ни глянь:

«Румяный Пылып до палки прилып!» (Яблочко румяное на веточке висит). Не яблоко, так груша. Не груша, так слива. Не слива, так вишня...

А в другой раз – другой начальник приказал липовый цвет собирать. Его в июне много бывает. Болтали: тот начальник сам был фронтовиком. И для леченья лично ему – липовый цвет был нужен. Ну, мы ходили от липы к липе. Собирали цвет в мешочки, потом его сушили, потом несли сдавать. Вся Куцевщина с этим возилась, а лечился он один. Поди все, что можно, вылечил начальник? Отлынивать, не собирать – можно было, наверное. За такое в тюрьму не посадят. Но поспоришь с начальством – так тебя же накажут! Всегда найдётся, к чему придраться...

Советские, то есть голодные!

Сейчас бы сказали – «лапша», но мама говорила – «макароны». Может быть, по своей невеликой грамотности. А может быть – в память о детстве! О сытом времени, что кончилось в 1929 году. В детстве-то мамином было все: и марципан, и хлебушек, и макароны могли быть – самые настоящие. Другое дело – на моей памяти! Ели мы «макароны» – вовсе не каждый день. Случалось это только на праздник. На Рождество (Коляды), на Пасху (Великдзень), на Фест (Купалле)...

Где было мясо? Да только в сказке: «Мясо – в хатке под столом, у собаки – под хвостом!» И с «макаронами» - та же история. В сказке о них – хоть каждый день тверди. А в жизни как? То есть – у нас, в колхозе имени Сталина. Ровно трижды в год – мы ели макароны! Стало быть, 362 дня в году были «советскими». То есть голодными! И только 3 дня в году – «антисоветскими». Сытыми, то есть! Для «макарон» картопли надо много. Сперва – протереть клубни, потом – убрать жмых, водой разбавить крахмал. Добавить туда яйцо – одно, конечно, одно! Откуда у нас больше? Из полученного теста – на сковородке мама печёт блинцы не блинцы, а что-то вроде оладий. Не больше 6 штук, по числу едоков: батька, четверо детишек, мама. Как испечёт – даст им остыть. После режет мелко-мелко, в лапшу то есть. И заливает ещё – водичкой или молочком! Да, молоко ради праздника – могло случиться в нашей хатке. Потом лапшу в алюминиевой тарелке – мама на стол подаст. Порой могла отдельно – для батьки положить! И тут мы заводим: «Закидали хлопцы вУды – // Кто на хлеб, на червяка! // Не глядит никто ниКУды, // Воч не зводит с поплавка...»

А вуды-то у всех (то есть ложки) из алюминия или дерева. Только моя – из мельхиора. Сроду никто из куцевских такой не мог похвастать! Мне ее батька с войны принёс. Была она грушевидной формы, со вмятинкой на стебле. Почти чёрной была она, а не жёлтой, как положено мельхиору. Но

все равно – не из дерева! Как батька ее добыл? Не знаю я. Что же выходит? Война – это горе! Но без войны – не было бы у меня такой ложки...

Поноса нету и слава Богу

В 1955-м Никита Хрущёв заявил: трэба скотинку – лучше кормить! А откуда взять корма? Нужно сеять кукурузу! По всему СССР стали ее сеять. И в Куцевщине тоже кинулись. Огромное поле (возле Рыловой Сажалки, где я телят пасла) отвели под кукурузу. Вот только семена, видать, не завезли вовремя. Почему так думаю? Потому как поначалу – шибко затянули с севом. Наконец ее посеяли, потом взошла она, и мы бегать туда начали. Есть хотелось же! У нас говорили: «Мама, что нынче на вечёру?» «Яглы!» «Яки таки яглы?» «А те яглы, что спать леглы...» (Есть вовсе нечего, ужина не будет...)

Не ловил нас никто и тюрьмой не грозил. Это при Сталине – за колоски сажали! А при Хрущёве – не трогали нас. И слава Богу! Хотя бежали мы – не по одному, а целым гуртом. И не раз в неделю – каждый день, пожалуй. Наконец появились початки, да только что толку? В длину – все, как надо: с ладонь взрослого человека. Но зёрнышки – только сверху! Верхняя треть – покрыта зёрнами, две нижних трети – зерна нэма. По уму как должно быть? Сперва зерна – зелёные, потом белые, потом они жёлтые. Наши ещё зелёные – мы их уже грызём! Невтерпёж было нам, отродясь голодным! Прошло какое-то время. Зерна еле-еле побелеть успели, а уже пора убирать! Весь этот горе-урожай ссыпали в огромную ямищу, что заранее была вырыта. Полежали там початки какое-то время, потом гнить начали, потом их выбросили. Или там же схоронили? То есть землёй закидали. Точно помню одно: даже на корм скотинке – початки не пошли! А нам на корм? Ну, поноса после них не было – как от макухи. И слава Богу...

Почему нас не гоняли от початков? Может быть, начальству сразу было ясно: кукуруза – это блажь! Толку с неё не будет. Не вырастет она! Но приказ сверху – выполнить трэба. А глядеть за початками – ни к чему! Это не картопля и не жито. Вот и возились с кукурузой абы как: «Взялся як голый за сраку...» (Вроде, взялся за дело, только дело – ни с места...)

Рядом бригадир – воровать нельзя!

Была такая песня – у нас, в колхозе имени Сталина: «Пекут бульбу, бульбу варят, // Едят бульбу, бульбу хвалят! // С бульбы – клёцки, с бульбы – каша, // Пропади ты, доля наша!» Сроду даже бульбы – не бывало вдоволь! Советская власть, жалей свиней, людей не жалела! Слава Богу, наша Зина на свиарнике робила. А там кормили свиней картоплей. Бывало по весне,

у нас в хатке – картошка уже кончилась. И новый урожай ещё не скоро! Тогда я к Зине на свинарник иду. И в такой одежке, где кармашков больше. Бульба для свиней есть всегда: не варёная, так печёная. Беру 5 бульбочек – в один карман, ещё 5 бульбочек – в другой. Теперь – домой, мимо могилки. Вокруг уже – темно совсем. Однажды я поглядела – там, над могилками чего-то светится! Я напугалась и бегом к хатке...

В другой раз мы шли вдвоём: я и Зина. И вот я смотрю на дерево, что стоит у могилки. А в нем дупло, а в том дупле – огонь не огонь и пламя не пламя. Но светится что-то! И звуков нэма. Нет, не костёр. Костёр горит – ветки трещат! А тут все тихо. Я молча сжала руку Зины, и мы обе-две прибавили шаг. До хатки дошли: «Воля, чего ты испугалась?» «Там огонь был, Зина! Прямо в дупле. Видала?» «Видала!» «А что же молчала?» «Боялась тебя напугать! Промолчу, думаю. Авось Воля не заметит!» Почему мы шли так поздно? Чтоб никто не видел, как несём картоху! Почти каждый день я ходила, шесть раз в неделю – точно. Но придти туда – это одно, а набрать бульбы – это другое. Если рядом бригадир – набирать не будешь. А нет бригадира – кругом куцевские. И каждый может настучать: «Нэма рыбы без кости, нэма бабы без злости...»

Помню, котёл там был большой! И Зина знала: где лежит остывшая картоха? Чтобы в кипяток не лезть, чтобы рук не обварить. Ну вот, принесу я бульбу в хатку! Была она в мундире, варили ее немойтой. И такая грязная, что пока мундир обдерёшь – вся чёрная станет. Видимо, считали: свиньи и так съедят, нечего мыть ее! Нынче принесу 10 бульбочек – нынче же съедем весь десяточек. На 6 едоков (батька, четверо детишек, мама) разве это много? Но мы и тому рады были, вечно полуголодные...

Портянки Сталина и фантики Хрущёва

Дело было зимой с 1960 на 1961 год. Где-то за месяц до того, как поменяли деньги и цены. То есть слухок уже прошёл: гроши будут менять, один рубль к десяти. И все от налички избавились. Точнее, избавились те, у кого она была. У нас в хатке – отродясь ее не бывало много! Деньги-то в колхозе не платили вовсе. Да и натурой не баловали: «Я работала в колхозе, // Не жалела белых рук. // При расчёте мне привозят // Яровой соломы пук...»

И вот одна баба – наличку сбыть не успела. Может быть, в Куцевщине магазин ещё не было, а в Куковичи – ехать нарочно трэба? Но вот бежит баба в селпо, а там из товару – одни хомуты! И больше ничего. Ну, хапнула баба – 10 не то 20 не то 30 хомутов. То ли на своём горбу перетаскала? То ли на чужой телеге увезла? Но таки приволокла хомуты к себе

на двор. И запятила их куда-то. Вот реформа миновала. Кончились сталинские «портянки», начались хрущевские «фантики». Тем временем про хомуты – узнала вся вёска. Подняли бабу на смех. А она что? Не помню точно. Может, огрызалась вслух: «Не суньте носа в чужое проса!» Или молча думала: «Почакайтэ, трясца вашей матери...»

И баба права оказалась! В сельпо-то хомутов новых не завезли. А сельчанам для скотины – хомуты потребны! Бросили смеяться, стали к ней таскаться. Баба не жадная оказалась. Цены она не задирала. То есть не спекулировала. За спекуляцию – тогда сажали! Рано ли, поздно ли – денежки все баба вернула. Не через год, так через два. Не через два, так через три...

х х х

Сроду было как – у нас, в колхозе имени Сталина? Либо пешком тащить-ся, либо в телеге ехать. Никаких велосипедов не видали мы! Но ближе к нашему отъезду (1952) откуда ни возьмись – возник велик. Вот радость-то была! Один на всех. Мужской, а не дамский! Ездили на нем стоя. Сперва-то меня не пускали: «Куда ты лезешь, Волька норовиста? Ты рады не даси, тебе не хватит сил. Иди до дому, парася мурзата!» Ну, потом я все же – на него взобралась. Научилась ездить потихонечку! Но первое время – каталась я только по «стеночке». Это самый короткий куцевской переулок. Мне все время кричали: «Смотри только вперед! Под ноги не смотри...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мама наша (30 марта 1912 – 28 марта 1994) прожила 82 года (без 2 дней). 24 марта 1994 года сыну моему – стукнуло 25 лет. Через 4 дня – умерла моя мама...

Игла в груди

Без следа пропало что-то? У нас говорили: «Сгинул, як гимно в сеножати (Пропал, как дерьмо в сенокосе)». Однажды такое случилось с иглою. Дело было ещё при немцах (после 1941-го, прежде 1944-го). Мама, сидя в хатке, шила. В сенках хлопает дверь, на пороге – соседка: «Лёня, немцы!» Куда иглу девать? Мама воткнула ее себе в грудь. Ну, в ту одёжку, что на груди! И меня одевать начала. Зина, Лена, Коля – сами одевались. Прячась от немцев, уехали из Куцевщины. А вернулись через сутки – мама про иглу забыла. Сейчас я думаю, что это вышло летом. И одёжек на груди – мало

было вовсе. Игла легко прошла сквозь них и добралась до тела. Это сейчас есть время, чтобы догадки строить! А тогда что? Иглу воткнула, сама нагнулась, меня одела. Выпрямилась – нет иголки. Нитка есть, иглы нет...

Прошло много лет (десять с гаком), мы переехали в Кичигино. И здесь наелись хлеба досыта. Однажды наш Коля три телеги с зерном на двор маме привёз. То-то была радость! Отродясь в Беларуси не бывало такого: «Я работала в колхозе, // Заработала пятак, // Пятаком прикрылась сзади, // Спереди – осталось так!» Сложили зерно на грузовую машину, повезли его молоть. Из Кичигино поехали в Увелку (Увельский – посёлок городского типа). Кузов был битком набит. Кроме нас, зерно везли несколько кичигинцев. Мы все сидели поверх мешков. Прибыли на место – поднялся сильный ветер. То ли ветром сдуло маму, то ли она оступилась? Но так упала, что ногу сломала. Кажется, левую голень. Мы повезли ее в травмпункт увельский. Оттуда маму послали на рентген. Видят на снимке: что-то не то! Начали спрашивать...

«Бабушка!» «Чего?» «Вы падали когда-нибудь?» «Нет!» «А что-нибудь случилось?» «Не помню я!» Потом она сказала: «Однажды воткнула иголку!» «Ты, бабуля, родилась под счастливою звездой!» Сделали ещё снимок, а после сказали: «Игла в груди! Только она – застряла на месте, ничего не задела!» А могла по сосудам – до сердца дойти. Было бы ужасно, смерть могла случиться! «Бабушка, давно вы с иглой живете?» «Годков десять, даже с лишним!» «Ну и живите дальше...»

За решётку сел?

Саманный домик в Кичигино нам, как приедем, выделил колхоз. Стоял домик на бутре, и ветер его насквозь продувал. Домик был летний, то есть холодный. И кичигинский домик – точно был меньше, чем куцевская хатка. Комната – четыре стенки да малюсенькие сенки! ещё печку помню. Сидя на ней, посмотришь вверх – там потолок просвечивает. Лучи солнца проникают через дыры. Летом ладно, а зимой как? Мама кого-то попросила, он заткнул эти дырки. Примерно с полгода прожили мы там. Зиму-то одну (с 1952-го на 1953-й) точно зимовали! Ох, зябко бывало! Урал не Беларусь, сроду холоднее здесь. Только на печи – можно было спать. Топлива хватало, слава Богу...

У нас была загадка: «Кабы не дедово ремесло, у бабы до пупа заросло!» Разгадка: дед – бойкий трубочист, баба – труба печная. "До пупа заросло" – копать покрыла все, от зева печи до верха трубы. На печи – тепло, на лавке – ни в какую не заснёшь! А кровати там – вовсе не было. И стульев тоже, но были две табуретки. Самодельные и некрашенные. Прямоугольный столик – тоже самодельный и некрашенный. Видать, все это добро от прежне-

го хозяина осталось. Бог весть, куда он делся! Может, на заработки подался. Может, за решётку сел. Время-то стояло – сталинское еще...

И наконец-то пол у нас дощатый был! Обычное дело для уральцев, но не для белорусов. Мы ещё не забыли – родной колхоз имени Сталина! Там дощатый пол считался роскошью. И был он вовсе не в каждой хатке. Короче говоря, сбылась моя мечта! Начисто вымою пол, насухо вытру его, сяду на лавочку, спою припевочку: «А чаму ж мне ня петь, // А чаму ж не гудеть, // Кали в хатцы, в маеі хатцы – // Сплошь парадачак ідць!...»

Вдруг убить вздумает

Печь топили кизяком. Нас это удивляло: как же так? Какашки, а годятся на топливо! Кизяк и вправду – даёт тепло, но от него воняет страшно. Что дрова в Куцевщине, что кизяк в Кичигино – покупать не пришлось. Нам же, колхозникам, денег не положено! От колхоза получали, на бумаге оформляли. И кичигинский кизяк – не куцевские дрова! Его много нам давали, слава Богу...

В телячьем вагоне – нас ехало пятеро. Одна мама и четверо детей. В саманном домике – мы жили втроём. Зина наша замуж вышла, Лена тоже вышла замуж – обе жили при мужьях. А Колю в армию ещё не взяли. Ведь 19 годков – ему стукнет только в октябре 1954-го. И заберут его – только в декабре. Чтобы, значит, он в колхозе поработал до упора! Словом, Коли в тот вечер – тоже в домике не было. Может, ночевал в гостях? У Зины или Лены. Не помню я! Но помню, что мела метель и выла выюга. Мама бы сказала: «Так холодно, что хоть волков гонять!» И вдруг вошёл мужик. Запросто он зашёл, двери-то не заперты. Отродясь не запирали – ни куцевские, ни кичигинские, кроме как на ночь. Видать, до ночи ещё было далеко! И мы с мамой – спать ещё не легли, хотя поесть уже успели. Как мужик выглядел? Как обычный прохожий! Только небритый очень и совсем седой. Было ему с виду лет под пятьдесят, и мне он показался глубоким стариком. Мужик сказал: «Ночевать пустите?» Мама в ответ: «У нас лечь негде». «Где же вы сами ляжете?» «На печи ляжем, там ровно два места, а третий не влезет». «А я на лавке прикорну...»

Там он и лёг, под печкой прямо. Ну, а мы на печке – аккуратно над ним. И всю ночь глаз не смыкали – страшно же было! Ограбить не ограбит – чего с нас взять? «Мы такая голода, что хоть нынче в болото». А если убить вздумает? Женщина и девочка – с мужиком не сладят! А если он не бандит, за что его гнать на мороз? Жалко нам его. Сами мёрзли часто, знали хорошо – что это такое! Выстави мы его – замёрз бы насмерть...

Хатку спалили дотла!

Январь 1953 года мы встретили в Кичигино, а к марту – в Куцевщину вернулись. В родной колхоз имени Сталина! В 1956 году, сразу после школы, я в Кичигино уехала. И через год – маму туда же перевезли ее зятя, муж Зины и муж Лены. Потом я часто думала: может, не стоило маму увозить на Урал? Может быть, мне в Беларусь стоило возвратиться? Глядишь, мама – прожила бы подольше, померла бы попозже? Может, со временем и я, как многие из куцевских, «устроилась бы у Минску». Может быть – да, может быть – нет...

Если есть дом – есть домовый! У нас все так говорили. В 1998 году, уезжая из квартиры (г. Южноуральск) в коттедж (п. Лесное) я своего домового за собой позвала. Позвала ли мама своего домового из Куцевщины в Кичигино? Не знаю. Зато помню дату: 1 марта 1957 года. В этот день купили половинку хатки, где стала жить мама. И слава Богу! Хотя половинка, а не вся хатка – все же своё жильё. В общем, «сгалабурдила» мама себе хатку. То есть половинку. «Дурны, як бот с левой ноги!» Такой сосед попался маме на новом месте. Прежде у хатки была одна хозяйка. Потом она решила уехать в Увелку. Хатку же продала: половинка – маме нашей, половинка – ее соседу. Сроду было как? Он напьётся и свалится – поперёк дороги, прямо перед домом. Машина насмерть задавит? Широка там дорога, а машин-то немного! И водитель сам – может так лежать. Потому он глядит под колёса внимательно. У нас бы сказали: «Я спать ложуся, а за сраку не держуся!» (За жопу не ручаюсь, во сне могу и пукнуть!) Ну, вот – сосед лежит, храпит, пердит. А все машины его объезжают! В конце концов, не то сам сосед, не то сын его по пьяному делу – хатку спалили дотла. Так люди говорят! Слава Богу, мама там уже не жила. Теперь там ровное место, ни кола, ни двора...

Своей бани у мамы не было. По знакомым мыться? Каждую неделю не пойдёшь. И не все знакомые – свою баню имели! А общественную баню в Кичигин ещё не выстроили тогда. С другой стороны, зачем баня колхознику? Зачем нынче мыться, если завтра снова – в грязи ковыряться? Из тазика помоешься! Вот и мылась мама в тазике. В этом смысле она – в Куцевщину вернулась. Где поголовно все – мылись из тазика или в корыте...

Могли угореть насмерть

Рядом с половинкой хатки было два магазина. Один прозвали – скобяной. Там были хозтовары. Прозвище другого – сельпо. Там продавали продукты. Говорю о прозвищах – вывесок не помню. Может быть, их не было? А сельсовет и нарсуд – стояли через дорогу от половинки хатки. Да,

в сельсовете – был телефон. Через дорогу – это близко! Это не 4 кмэ от Куцевщины (где мы жили) до Раёвки (где был телефон). Но кто нас туда пустит? И кому нам звонить? Среди знакомых – начальства не было. И телефонов домашних – не могло быть. В общем, в сельсовет мы не совались, в нарсуд – тем более...

Зато к нам шли из «дежурки»! Из дежурного магазина. Он стоял через забор от половинки хатки. И там водку продавали – до 11 вечера, то есть до 23.00. Все стаканы у мамы повытаскали! То есть у Кнышихи – так звали маму в Кичигино. А в Куцевщине – звали Лёня. Что приезжие, что соседские – каждому выпить охота культурно. Отродясь было как? Водку купили, стакана нету! «У Кнышихи есть, айда к ней!» Зачем давала она стаканы? Так если не дать – сперва браниться будут: «Чаво ты там рагочешь (бормочешь)? Чаво ты вочи вытаращила як мавпа? (Что ты глаза тарачишь, как будто обезьяна?) Не рагочи (не бормочи) больше!» А после ругани – могут и поколотить! И уж точно – стекла выбьют...

Однажды мы спать легли и чуть не угорели! Вьюшка – это задвижка, нужна она – чтобы угар выпустить, а жар не выпускать. Так вот, угар пошёл в хатку! Идёт он – понизу прежде всего. Кто пониже спит – первым угорит. Я спала на кровати, мама на сундуке. Видать, я разбудила маму, кровать-то – ниже сундука. «Мама!» «Чего, Воля?» «Тошнит меня!» «Ой-ой-ой! Видно, я рано закрыла вьюшку». Мы обе встали и вышли на двор. А если бы меня не затошнило? Угореть могли – насмерть обе-две! Дело было зимой. Помню, долго мы ходили, распахнув все двери настежь. По двору, по улице, снова по двору. Тогда спокойно было! Не боялись мы – со двора ночью выходить...

х х х

Куцевские говорили: «Жицина пархатый // Наевся салата, // Салата пушило, // Жида задушило!» (Вот еврей поганый // Жрет салат кочанный, // Салат – распухает, // Еврей – помирает). Ну, то есть обжору – убило обжорство! А маму погубил обжора-поросёнок. Однажды Лена, моя сестра уехала на время. А порося же надо кормить! Мама с ним возилась – почти целый месяц. Например, картошку мыла в воде холодной. Горячей-то сроду в Кичигино не было! Мама застудила руки, потом – воспаление лёгких, а там и рак...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Моя сестра Лена (30 мая 1932 – 7 января 1998) прожила 66 лет (без 20 недель). Она умерла в том же году, когда родилась моя внучка. Сестра умерла в январе, внучка родилась в марте...

Светочка родилась мёртвая!

В 1952 году мы променяли товарища Сталина на новую жизнь! Из Куцевщины переехали в Кичигино. «Новая жизнь» - так звался кичигинский колхоз. А куцевской колхоз носил имя Сталина. Маме было 40 лет, Зине – 22, Лене – 20, Коле – 17, мне – 13 всего...

Помню конфеты «Орион», меня угощал ими Володя – жених Лены. Точней сказать, Володька – так его звали родители. Отродясь было как? Придёт Володька, а Лены нету. Зато я дома! И он мне даёт кулёк «Ориона». В серой обёрточной бумаге, тогда в неё все заворачивали. Это конфетки-подушечки, сверху какао-порошок, под ним – белая карамель, внутри – коричневая начинка. Где Володька покупал их? Да в том же сельпо, где были продукты, и не было вывески! Кроме «Ориона», видела я там конфетки «Цветной горошек» и ноздрятый хлеб кирпичиком. Хлебом Володька не угощал меня! Сытое Кичигино – это не голодная Куцевщина, где было так: «Бабунька, злеба!» Бабунька подаст кусочек Ларисе, моей подружке. Тут Лариса добавит: «А для Вольцы?» То есть для меня. И бабунька даст ещё кусочек, хотя лишнего хлеба нету. Ну, вот – возьму у Володьки кулёк «Ориона». И вроде как – стану «добрая». Да пойду с ним туда, где сейчас наша Лена. Всегда Лене было ясно, кто «навёл» Володьку на ее «убежище». Но за «предательство» она меня не ругала. Значит, и я отчасти – виновата в том, что случилось позже? Что они поженились, что Лена забеременела, что Светочка родилась мёртвой...

«Журавлины не взошли, // Кавуны засохлы, // А к нам хлопцы не пришли, // Каб воны подохлы!» (Журавлины – клюква, кавуны – арбузы). Такого не было, хлопцы ходили к нам, Шурка к Зине, Володька к Лене. И Володька (вовсе не казак) всегда был веселей, чем Шурка (коренной казачина). Шурка – тот явится и сядет молча. А Володька-то придёт – каждой улыбнётся! С мамой – малость поболтает и мне скажет иной раз: «На что мне ходить да Лену искать? Может быть, я, Оленька, на тебе женюсь?» «Нет!» «Почему?» «Да я ещё мала совсем!» «Это что значит?» «Это значит – мне ещё учиться и учиться...»

Не убьют, так искалечат

Вот 1956 год. Ещё весной – я жила в Куцевщине. А уже осенью – оказалась в Кичигино. Сперва пришло письмо от Лены: «Воля! На завод радио-керамики (ЗРК, что в Южноуральске), срочно нужны рабочие. Приезжай!» С поезда я сошла в Увелке. И в тот же вечер добралась до Кичигино на «душегубке». Взамен автобуса она ходила – грузовая машина с закрытым кузовом. Сроду было там – ровно две скамьи. Кто успел, тот и сел! Я не могла никак к скамейке протолкаться. Взрослый-то мужик – не всякий сдюжит. А у меня в 17 лет – откуда столько силы? Куцевские говорили: «Была сила – // Пока матери в животе носила. // Носить перестала – // И силы не стало!» Я стоя ехала, как очень многие. Плечо к плечу, впрытык стоим. Зато проезд бесплатный! Кондуктор, билеты, контролёр? Не было этого, и быть не могло! «Душегубку» брали штурмом, на входе встанешь – тебя затопчут. Войти последним и собрать деньги? «Руки прижаты, отдать не могу!» Так скажет один. Другой смолчит и отвернётся. А третий может – под рёбра двинуть! Убить-то не убьют, а искалечат запросто! Водитель? И ему – не до нас, и мы – к нему не лезем. Точно помню, в кабине было одно место рядом с ним. И ни разу там – не сидел никто...

Зашла я в дом, прикрыла дверь, здороваюсь. Лена на меня прямо засмотрелась: «Воля, это ты?» «Лена, это я». «Вот это да! Я-то думала ты с меня ростом. Или даже ниже. А ты меня переросла!» Лена-то сразу это заметила, а Зина за ростом моим не следила. Зине надо было Шурку сторожить, чтобы не напился! Бывало, я спрошу у ней: «Ой, Зина, Зина! Ну, зачем ты пьёшь?» Она в ответ: «Чтобы Шурке меньше осталось!» Если он так пил, почему она вышла за него? Они же Шурика уже родили! Зина забеременела – пошли расписываться...

На другое утро – я пешком на ЗРК пришла. Это 4 кмэ в один конец. Вот отдел кадров: «Паспорт есть? Хорошо. Аттестат? Ни к чему. Прописка есть? Нету. Отказать – так и напишем на заявлении!» В общем, колхозник, знай своё место. В борозде родился – в борозде работай! Ну, вернулась я в Кичигино. Чуть не плача, рассказала про отказ. Дядя Вася (свёкор нашей Лены) говорит: «Воля!» «Что?» «Ты же комсомолка!» «Да». «Так езжай в райком! Авось они помогут...»

С голоду помирать?

Терять время я не стала: «Голый, готовься! Голый, готовый!» Утром рано – бегом на остановку. Залезла в «душегубку», приехала в Увелку. Вот райком ВЛКСМ – деревянное здание через дорогу от ДК (Дом Культуры). Захожу в

комнату – там стол буквой «Г», длинный конец – ко мне. Сидят двое, один слева, другой справа. Видимо, оба подумали: «Ишь, какая смелая!» Все рассказала и показала им заявление: «Прописки нету – на завод не берут, а мне есть нечего!» Сидят и улыбаются. «Даже хлеба купить – уже завтра не на что! Что же мне, с голоду помирать?» Молчат и улыбаются. «И взносы как платить?» Вынула я членский билет. «Забирайте хоть сейчас, если не поможете!» Чуть не сказала им: «Дожили казаки: ни хлеба, ни табаки!» Но удержалась все-таки. Помогли, слава Богу! Нацарапали мне резолюцию: «Просим принять на работу (трудоустроить) Кныш Ольгу Николаевну, так как у неё нет средств к дальнейшему существованию...»

Но направили меня – не в Южноуральск, а в Кичигино. Не на ЗРК, а на РМЗ (ремонтно-механический завод). Вечером я вернулась в Кичигино. Утром – бегом на РМЗ. Там прочли бумагу, отвели меня в цех, показали мастеру. Тот начал объяснять: «В цехе запрещено – петь, бегать, свистеть! Видишь ту женщину? Знаешь, почему она платок – никогда не снимает? Потому что раньше его – не хотела носить! Волосы угодили в токарный станок. Их сорвало вместе с кожей. Ужас? Да-да! И боли натерпелась, и облысела навсегда. Теперь все время – косынку носит! Ну, косынку – найдёшь сама. А халат мы тебе дадим...»

Халат был для меня мечтой. Утро – на смену, вечер – со смены! Каждый день я видела, как шли рабочие, и каждый был в халате. Все-все халаты – серые были. Бытовка, шкафчик, душ? Ничего не было! Думала, мне – выдают грязный. А дали – чистый халат! Уже через неделю – он грязный стал. Стружка с металла и пыль такая же – носятся по цеху, на халат садятся. И он из синего – серый становится, если не чёрный. Колом стоит! Хошь не хошь, а стирать его надо. Да я и рада была стирать. Отродясь было как – у нас, в колхозе имени Сталина? Вошкались со щёлоком. А тут – хозмыло! Ведь это роскошь. Сперва брала я мыло у Лены. После покупала на свою зарплату...

Кладбище и темнота

Приняли меня учеником токаря. А токарем, к слову, я так и не стала – ушла на «большие заработки». На клёпку полотен для целины (полотно – деталь комбайна). Но это позже будет, а пока потекли мои первые смены. Вышла с утра, к 8.00. Гудка не было, и будильника тоже. Петухи будят, это сперва. После привыкаешь, сам к восьми встаёшь. Полсмены прошло, в 12.00 – обеденный перерыв. Сначала – ровно час был, потом – 48 минут сделали. Перерыв – все рабочие по домам бегут. Столовки сроду не было, а будь она – денег всем жалко! Мне куда в обед бежать – родню Лены объеда? В общем, в перерыв я просто отдыхала. Куцевские бы сказали: «Ты

обедал?» «Я обедал!» «А как ты обедал?» «А так обедал, что живот не ведал...»

Недели две спустя – заплатили мне первый раз, дали аванс не то получку. То-то рада я была: «Теперь хоть хлеб себе куплю!» А мне 18-ти лет ещё не было. Хоть с 8.00, хоть с 16.00 – моя смена была короткой. На два часа меньше, чем у взрослых (указ 1956 года). Если роблю во вторую, в десять – уже свободна! Сидеть и ждать, пока толпа пойдёт со смены? Да ну их, домой охота! И я, бывало, иду одна...

А идти всегда – мимо кладбища! Помню надпись на могилке: «Заходи, знакомый, // Навести мой прах. // Я-то уже дома, // Ты ещё в гостях». И вот, однажды иду я там. А вокруг ни души. Боюсь, конечно, ведь ночь уже! Со страху-то и оглянулась, хотя причин-то вроде не было. И вижу – что-то в темноте белеет. Словно кто-то простыню на себя набросил и за мной шагает! Ну, это сейчас я рассуждаю здраво. А тогда что ж – напугалась до смерти. Оно идёт, а звуков нет – шагов не слышно. Я бежать кинулась, оно следом бежит. Опять-таки, без звука! Я стою – оно стоит, и молчит – как я молчу. Я иду – оно идёт, и опять ни звука. И людей – ни души! Одни – уже по домам, другие –ещё на смене. Ох, страшно было! То шагом, то бегом – добралась я домой. Только вбежала, Лена спросила: «Воля, что с тобой?» «За мной гонятся!» Заперли мы дверь, глянули в окно. Эта белая штука – у калитки маячит. Помаячила и пропала! Ушла или улетела? Не знаю я...

Кошелёк вытащил!

У нас, в колхозе имени Сталина, говорили как? «Садись, дядька Степан, к нам в телегу!» А он в ответ: «Нэма часу, чтоб садиться – идти трэба!» Мы бы с Леной сели, кабы нас позвали! Скажем, на автобус. Но автобус из Кичигино в Южноуральск –ещё не ходил. На своих двоих топали пешком вдоль Увельки-речки. И топали шустро! Помню, мы с Леной за 40 минут дошли до рынка. Одежку мне смотрели. Это могло быть – только в воскресенье. Шесть дней в неделю – мы на работе. И ходили мы – не каждое воскресенье, а только с получки. Получка была маленькой, давали ее раз в месяц. Если я не путаю – 370 рублей. Это старыми деньгами, реформа была (1961) ещё впереди! Так вот, зима все ближе, а у меня ни пальто, ни валенок, ни шапки. Сбегали на рынок, нашлись только валенки! Подшитые, кто-то их носил уже, серые. Ладно, таскать ещё можно...

За пальто и шапкой – надо ехать в Челябинск, на барахолку, то есть. Туда пешком никак – почти 100 кмэ в один конец! Сели на «душегубку», приехали в Увелку. Сели на электричку, в Челябинск прикатили. Там еле-еле пробились в автобус. Было столько народу! Ни протолкнуться, ни шевельнуться. Все спешат на барахолку. Там по дешёвке есть приличная

одежда. Ехать долго, куда-то за город, в сторону ЧМЗ (Челябинский машиностроительный завод). Там был пустырь, на нем шёл торг ...

«Воруют все, кому не лень. // Ворует северный олень. // Ворует вошь, ворует гнида. // Ворует бабка Степанида. // Ворует вся святая Русь. // И только я – украсть боюсь!» Это точно про меня. Значит, едем мы в автобусе. Вот так вот я стою. И Лена стоит рядом. Вдруг я вижу: молодой человек вынул руку из кармана. А между пальцами – зажато лезвие! Ширк да ширк – по карману женщины, что впереди стоит. Раз – кошелёк вытащил. Я со страху – чуть не умерла! На Лену глянула, она – палец к губам. Молчи, дескать! Дрожу и молчу, молчу и дрожу. Тут как раз остановка – и грабитель, и женщина сошли. В первый раз отродясь – вора я увидела...

Можно отогреться, можно угореть

Чуть ли не час – от вокзала до барахолки тащились мы в этом автобусе. Но все же не зря! Купили мне пальто с воротником из цигейки. Уже ношеное, но ещё носить можно. Долго я его таскала, две зимы, по крайней мере (осень 1956 – весна 1958). В тон воротнику – выбрали мы шапку, тоже из цигейки. И слава Богу! Холода-то уже грянули...

Едем назад – тесноты нету. На барахолку – все спешили к открытию, а на вокзал – другое дело. Цены на билеты? И электрички, и автобусы – все стоило недорого. Кажется, за 14 рублей ехали из Увелки в Челябинск (около 90 км). А после 1961 года – за 1 рубль 40 копеек! Вернулись в Кичигино вечером, уставшие и голодные. Хлеба с салом взять с собою? Так замёрзло бы все – не угрызть ни за что! Морозы стояли – под 40 градусов. У меня в пути – щеки побелели, Лена их ещё снегом оттирала. Куцевские бы сказали: «Без кабата – мерзнет спина!» (Без одежды – задубеешь!) Так и есть. Приехала я осенью – ещё тепло было. Зина мне дала платье и «венгерки». Это бурки с каблуками. Я недолго их таскала, ноги мои выросли, бурки стали жать. Я венгерки сносила – Лена деньги скопила...

На Урале сроду – холодней, чем в Беларуси. Зато бани есть у многих, значит, можно отогреться! У нас говорили: «У бабки спросили: «Бани нэма совсем?» «Совсем нэма бани!» «А где же мыться?» «Да в речке». «А зимой?» «Да сколько той зимы-то!» ещё спросили: «Где же вы моете?» «Отселя (показала на подмышки) доселя (показала на промежность)». «А селю?» «Что селю?» «Селю тоже надо мыть!» В бане можно отогреться, в бане можно угореть. Потому вдвоём и шли! И меня впервые – мыться послали с кем-

то вместе. Только не с Леной – она же была беременна. Видно, мылась я с кем-то из сестёр Володьки (муж нашей Лены). Баня была пристроена прямо к избе, но вход имелся отдельный. В предбаннике на скамью сложили одежку. Хотя разделись – мы не замёрзли, значит, натоплено было – дай Бог! Полок там точно был, а каменку – не помню. Может, и была она, только мы не парились. Живо сполоснулись, пошли одеваться. Обычное дело – по двое мыться тесно, по одному – опасно...

Трое детей в одной могилке

Роддом в Южноуральске был деревянный, в один этаж. У куцевских была загадка: «Висит под белькой с червонною петелькой». Это лампа электрическая! Висит под балкой, красная нить – ярко горит. Да, свет здесь был – не то, что в Раёвке. Зато там фельдшер – всегда был трезвый, а здешняя врачиха – пьянчугой оказалась. Рожала Лена 8 марта 1957 года. Ясное дело, на дворе праздник – врачи под мухой! Простынями давили, вынимая ребёнка. Давили, давили, давили. Вынули, а там трупик! Светочка оказалась мёртвой. Врачи Лену утешают – голосами пьяными. Один сказал: «Ну, что же вы плачете? Не надо плакать! Могли ведь обе умереть». Вторая добавила: «Еще хуже могло быть – умерла бы ты одна. С кем бы девочка осталась? И такое ведь бывает!» Верно, в родне у Володьки (муж нашей Лены) был такой случай. Мать умерла родами, а девочка уцелела. Выходить смогли, выросла она...

Когда мы забирали их – мёртвую девочку выдали первой. Эта Светочка – дочь Лены, ещё Шурик – сын Зины, да ещё один ребёнок – втроем лежат в одной могилке. Дети часто умирали – что в Куцевщине, что в Кичигино. Рожать дома с бабкой? Ни разу такого не помню...

Кроме бани, своя газета – ещё одна кичигинская роскошь, невиданная для куцевских. У нас-то, в колхозе имени Сталина, отродясь было как? За все годы (1939-1956) помню одну газету. И в ней стишок про котьку: «Вушки – слушки не мыляюцца, // Вочки в ночьку – запалюцца!» (Уши слышат – и вовек не ошибаются, // Очи ночью – огоньками зажигаются!) И газету эту – я не в нашей хатке видела. Никаких газет мама не выписывала! Откуда у колхозника – деньги на подписку? В той же газете – была девочка, похожая на меня. Кто-то ещё сказал маме: «Лёня! Это же твоя Воля! Это она на фотографии!» Ну, а в Кичигино – совсем другое дело. Дядя Вася (свёкр нашей Лены) получал «Правду». Может, за деньги. Может, бесплатно! Член КПСС, инвалид войны – без руки остался. Он вполне мог получать газету даром. И очень ловко он вертел из «Правды» самокрутки...

Гляди не утопись!

Работая на РМЗ, я жила у Лены. Верней, в хате ее свёкра и свекрови. Кухня и зал, а спальня – за занавеской! Просторная кичигинская изба – это не тесная куцевская хатка. Там ни кухню, ни зал, ни спальню – сроду не выделяли. Загородку поставить, занавеску повесить? А какой толк? Выделять-то нечего, места вовсе мало! Жили мы в Кичигино – шесть душ под одной крышей. Дядя Вася с тётёй Фросей (свёкра и свекровь Лены). Да ещё Володька (муж Лены), да сама Лена. Потом – Валя (сестра Володьки). Потом – я (сестра Лены). Валя была моложе меня лет на десять...

Она выросла и уехала в село Кумызное – за речкой Увелькой. В Куцевщине был стишок: «Мамачка галубка, – просишь сын так мила: // Хоць бы ты на рэчку пагуляць пусцила?» // «Ну, идзи, сыночак, скоранько вярнися, // Ды глядзи у рэчцы ты не утопися». Ну, в этом притоке Увельки никто не тонул никогда! Метров 20 шириной, по камням – вброд перейдёшь. Вода до колен – никак не выше. Чтобы одёжку не замочить – хлопцы подвернут штаны, девки подола поднимут. Там, в Кумызном, Валя замуж вышла. Потом вместе с мужем вернулась в Кичигино. Кажется, Валя жива до сих пор...

«Уляжешься с краю – // Як с божьего раю! // А лёг под стеною – // Як лёг под свиньёю». Это про кровать сказано, а вот на пол как ни ложишься – все равно неладно. Задеть ненароком тебя любой может. После всех – ложишься, прежде всех – встаёшь. Слава Богу, пол-то был не земляной, а дощатый. То есть тёплый – и без блох! Чем-то дали мне укрыться, что-то сунули под голову. Старое одеяло, должно быть. Никаких простыней, одно одеяло – сверху, одно одеяло – снизу. Под голову – опять одеяло, но свёрнутое валиком. Спать не холодно было, печь была настоящая! Русская печка, а не убогий очаг. Это когда варить можно, а тепла нету вовсе. Дядя Вася с тётёй Фросей – спали на кровати. На чём спали Володька, Лена, Валя? Не помню, ей-богу. Плата за постой? Денег не брали с меня! Я взамен мыла пол. Ночью на нем посплю – днём его вымою...

В тюрьму попал

Отродясь было как? То холод, то сырость, то окна замёрзнут, то грибы по углам вылезут! Это в Куцевщине. Почему? Мама говорила: «Я не виновата. Бабина дорога – от печки до порога! Хатку сгалабурдить – дело мужика». Вина за батькой! Дерево-то доброе на хатку нам сготовили. Да батька долго его не брал. А приехал забирать – доброго уже нэма, осталось дерево похуже. Из него и сляпал хатку. «Вельми кепска сляпал!» (Очень худо

сделал!) Почему батька не спешил? Лучше спросить: когда он спешил? Никогда! Только на соседей он любил работать. Они ж ему платили – сыр, творог, молоко! А дома возиться – ведь это ж бесплатно...

Слава Богу, в Кичигино – ни холода, ни сырости, ни грибов не было. Зато был круглый стол, он стоял в зале. На нем лежала «филейка». Это скатерть, которую вяжут крючком в два приёма. Сперва – получается основа (канва) из суровых ниток. После – по ней вышивают нитками шерстяными. Очень мягкие они были. Сама вышивка – изображала цветы. В общем, Кичигино – не Куцевщина! Ведь там, в колхозе имени Сталина – скатерти не водились! И стол там был – самодельный, а в Кичигино – настоящий стол, в магазине купленный. Один стол был в зале, а другой – на кухне, там есть садились. И вроде бы посуда – была из магазина! А не наши самоделки, ими все губы – в кровь изрежешь. Два стола, скатерть с вышивкой, посуда из магазина – вот это жизнь! Печка была голландка. У неё верха нету. Это не русская печь – на неё нельзя лечь. Голландка – это прямоугольник, в нем дырки с дверками. И готовить на ней можно, и тепло от неё идёт. Может быть, даже больше тепла, чем от русской печки...

Я думаю, изба – казённая была. Ведь семья Володьки была эвакуирована во время войны! Не то, что наша семья, прибывшая сама по себе. Жильё в эвакуации – могли дать бесплатно, я так понимаю. Вроде, были они из Смоленской области. Дядя Вася был вдовец, жена там ещё умерла. Поэтому здесь он женился на тётке Фросе. Кроме Вали и Володьки, было у них ещё четверо детей. Но все разлетелись прежде, чем я приехала в Кичигино. Старшая дочь – замуж вышла. Старший сын – в тюрьму попал. Кажется, за мордобой. Точно помню одно – сел он не за политику...

Для чего воровать?

Куцевские говорили: «Как едят и пьют, // Так нас не зовут. // А как сидут срать, // Так спешат позвать!» Слава Богу, такого в Кичигино не было. Больше того, тут я впервые кушала суп с гусятиной. Сроду было как? Вот сидим за столом. Дядя Вася скажет тётке Фросе: «Слышь, мать, ты Волю-то не обижай! Кусочек мяса ей положи. В первую очередь!» Я уж говорила: был он фронтовик, без одной руки. Жалел о руке? Думаю, рад был, что не погиб! Живой пришёл, и слава Богу...

Капусту воровать меня в колхозе посылали! Не раз и не два такое бывало. Почему не отказалась? Если меня кормят, как я откажусь? «Дар за дар!» (Как ты со мной, так и я с тобой!) Вот так надо! «Дар за ниц! (К нему с добром, а он с говном!) Так не надо. Выдали мне велосипед. Грядки были на горке. В гору иду – велик рядом ведёт. Дошла до грядок. Капусты набрала,

верёвочку завязала, и мешок – на багажник. Еду с горы – давлю на тормоз. Однажды не рассчитала! Не до конца нажала. Велик разогнался, чтобы не разбиться – ногой тормозить стала. Так грохнулась – голову зашибла! Нет, не сломала я ничего, но левый бок долго болел. Капусту не растеряла – это самое важное! Нет, ни разу меня не поймали! Видно, далеко я была от сторожа. Почему капусту крали? Во-первых, своя-то ещё не выросла. А есть-то хочется! Во-вторых, чужую съедим – свою сбережём. Едоков много, капусты мало! Огород-то маленький. Это при Брежневе перестанут в колхозах урезать огороды. При Хрущёве – урезали постоянно! Раз вырастить нельзя, то надо воровать. Украсть у соседа? Кичигино – не Куцевщина. Здесь любой огород – за высоким забором. Запросто не влезешь...

Кроме капусты – воровали подсолнухи. Это пораньше было. Летом 1952 года, когда мы в Кичигино только обживались. Зина, Лена, Коля – все они постарше, и семечки им не шибко нужны. А я, мелюзга, – совсем другое дело! И есть охота мне, и за компанию – чего ни сбежать? Сперва перешли речку Кабанку – по каким-то досточкам. Метров 5 шириной, глубиной 1 метр – вся речушка. За нею сразу – поле в подсолнухах! Стали мы пробовать – где семечки вкуснее? И тут сторож к нам подкрался...

До тюрьмы не дошло

Именно подкрался, а не подбежал. Чтобы бегать – ноги молодые надо, а откуда им взяться? Молодёжь в сторожа не пойдёт! И ещё – хлопцы не впервой пришли, сторож знал: где ловить? Так вот, он подкрался, и все разбежались! И только я – не разбежалась, как говорится. Может быть, с непривычки? Или с того, что семечек ещё не набрала. Ничего в руках нету. Значит, ни в чем не виновата? И убежать ни к чему. Другое дело – хлопцы, что удрали. «Схвачу и помчу, як чёрт добру душу!» (Схватил крепко, понёс быстро!) Они-то удирали, чтобы спасти добычу. То есть сорванные вершушки подсолнухов. Своровал, твою мать? Есть за что наказать...

Внешность сторожа – я не помню, но был он точно без ружья. И солью в задницу пальнуть не мог! Ну, показала я ему пустые руки. Конечно, «скворчал он, як шкварки на сковородце». Но бить меня – не стал он. Даже не шлёпнул ниже спины! Голод-то не тётка, сторож понимал, что мне есть охота. У нас, в колхозе имени Сталина, как говорили? «Сытно живете?» «Очень сытно!» «Еды хватает?» «Аж остаётся!» «Что остаётся?» «Лавровый лист, голые кости!» «Куда ж деваете?» «Съедаем тут же...»

Сторож меня отругал и отпустил. Никуда не повёл, штрафа не оформил. А хлопцев-то удравших, я думаю, запомнил! И по начальству доложил.

Чтобы родителей наказали! До тюрьмы, конечно, дело не дошло. Слава Богу, за колоски уже не сажали. Ведь 1952-й – это не 1937-й. Но деньги с родителей могли потребовать! Иначе же хлопцы все семя растащат. А ведь оно колхозное! Да, капуста – это еда настоящая, а семечки – вроде как баловство. Но там были – особые семечки, очень крупные, в общем – вкусный сорт. Отродясь нигде больше я таких не видала...

х х х

Куцевские говорили: «Ну, як вы живете?» «Да кидаемся, як горох при дороге!» «То есть как?» «Горох вырос при дороге. Народ его и рвёт, и топчет – и днём, и ночью! А тот все равно – растёт во все стороны!» «А дальше як жить?» «А як набежить!» Судьба у Лены – на этот горох похожа. Вышла за Володьку, а он вскоре помер. Богатый вдовец сватался – Лена не пошла. Почему? Вдовцу работница нужна была, а у Лены здоровье уже пошатнулось. После старик один (сосед по подъезду) сватал ее вроде. Но сказал, что ее внуков – на порог не пустит! И Лена ему отказала...

(Окончание в следующем номере)

Степан Левин

О НАУЧНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ МИФАХ

Социологи сообщают нам об удивительных и пугающих цифрах: чуть ли не половина опрошенных оценивают советское прошлое положительно. И добро бы люди пожилые, вроде автора этих строк, нет, молодые люди 20-30 лет, «первое непоротое поколение». И это 25 лет после падения коммунистической диктатуры и обретения свободы. Может, это от того, что народ наш не добыл свободу в борьбе (кучка диссидентов не в счёт), а получил её неожиданно в дар? Наверное, и поэтому тоже; есть, конечно, еще причины, но оставим их анализ будущим историкам. Мы же, старые «совки», можем предупредить, предостеречь «молодых-необученных», рассказать им правду о тех глупостях, безобразиях и преступлениях, которые мы повидали на нашем советском веку. Слышу, слышу возгласы: «Вот ещё один очернитель нашелся, ведь не только же плохое было, было ведь и хорошее!». Знаю. Но хвалителей и без меня хватает. Вон телевидение расскажет вам о великих свершениях и мудрых вождях. Так что немножко поочерняю, с вашего позволения.

Хочу я рассказать об одном явлении в советской истории, которое обычно называют «борьба за научные приоритеты». Это будет не документальное исследование, а всего лишь короткий рассказ. Я постараюсь показать на нескольких примерах, как работала эта научно-патриотическая кухня, чем это обернулось для страны.

Пропагандистская кампания «борьбы за научные приоритеты» была частью грандиозного процесса, который смело можно назвать идеологической революцией в послевоенном СССР. Иосиф Сталин, находившийся на вершине своего могущества, прославляемый, воспеваемый и, практически, обожествленный, увенчанный неслыханными титулами вроде «отец народов» «великий вождь и учитель», «корифей всех наук» и так далее и тому подобное, – конечно, был уже никакой не первый секретарь какого-то совершенно неважного политбюро. Это был настоящий абсо-

лютный монарх, единоличный правитель огромной, отгородившейся от остального мира железным занавесом империи.

Скромный пролетарский стиль двадцатых и тридцатых годов совершенно не соответствовал новой реальности. Новоявленной империи требовался соответствующий антураж – власть, недолго думая, принялась воссоздавать старые имперские декорации последнего романовского царствования. Может быть, сказалась и ностальгическое желание стареющего тирана увидеть вокруг себя мир своей молодости. Так или иначе, решение было принято, и старая имперская Россия стала восставать из пепла, в который она превратилась, казалось безвозвратно, в 1917 году.

Страна менялась на глазах. Уже в годы войны старая царская военная форма с погонами сменила скромные одежды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. После войны армейская форма стала еще ярче и краше. Витрины Военторга на проспекте Калинина в Москве сияли золотом погон, шевронов и нашивок. Старшие офицеры надели шинели шикарного голубого сукна и украсили головы изумительной красоты мерлушковыми папахами. Вслед за армией и другие профессии – юристы, работники МИДа, железнодорожники, горняки обзавелись своей формой. Не было обойдено и подрастающее поколение: мальчиков и девочек развели по разным – мужским и женским – школам, и все школьники получили дореволюционную гимназическую форму.

Страна меняла не только обличье. Прежняя коммунистическая, пролетарская идеология не была вовсе похерена, но сильно потеснилась, уступив центральное место старой-новой имперской российской идеологии. Марксизм и пролетарский интернационализм остались в основном для внешнего употребления. Идеологическими устоями стали державность и русский национализм – знаменитая уваровская триада «самодержавие, православие, народность» за вычетом православия. (Сегодня, когда я пишу эти строки, власти, похоже, решили восстановить триединство в полном составе). Язык власти тоже менялся. Из прошлого всплыли забытые выражения – «великий русский народ», «российская держава», «великая Русь», слова, за которые в двадцатых-тридцатых можно было схлопотать партийное взыскание, а то и срок за «буржуазный национализм». Весь этот неожиданный идеологический поворот народ наш воспринял довольно спокойно – за время Советской власти привыкли ко всему. Если бы «великий вождь и учитель» приказал всем, скажем, перейти в религию вуду, то никто бы и не почесался. Но поворот от абстрактного и чужеродного пролетарского интернационализма к старому доброму русскому национализму был воспринят скорее позитивно. Ведь чувство национальной гордости это очень приятное чувство. Ничего особенного не

совершив, только за счёт принадлежности к великому русскому народу, ты автоматически становишься лучше, умнее и красивее всех прочих! И кому не приятно, когда его хвалят! А уж пропаганда на похвальбу не скупилась.

Как заведено в России при любом повороте, вместе с настоящим менялось и прошлое. Кровавый тиран Иван Грозный вдруг превратился в мудрого правителя и патриота. Завоевательные войны, которые вела Россия, превратились в защиту российских интересов. Оказалось, что прошлое России это не сплошное угнетение и классовая борьба, нет, это и блестящие победы над врагами, и великие достижения во всех областях науки и культуры.

Славное прошлое плавно переходило в замечательное настоящее. Газеты, радио воспевали наши невероятные успехи; каждый день отмечался новыми рекордами в забоях, воздвижением высоченных плотин, строительством глубоченных каналов и прочими трудовыми подвигами. Миллионы и миллиарды киловатт, тонн, кубометров, километров ежедневно извергались на слушателей из чёрных круглых репродукторов. Не забыта была и культура. Западную классику всё же не тронули, но современное западное искусство полностью исчезло. В Московском музее Западноевропейского искусства (ныне музей им. Пушкина) убрали в запасы всю коллекцию западноевропейской живописи, а потом закрыли к чёртовой матери и сам музей. Устроили в его здании нечто в истории невиданное – выставку подарков ко дню рождения одного человека, мудрого вождя и друга физкультурников И.В. Сталина.

Понятно, что наше искусство, как прошлое, так и современное состояло сплошь из шедевров. Так что с первенством в культуре наш агитпроп справился легко и просто: постановили, к примеру, что лучшая картина в мире «Три богатыря» – попробуй не поверь. Но вожди на этом не остановились, решено было доказать народу еще и наше первенство в науке и технике.

Тут они перешли грань. Даже самые убежденные националисты 19-го столетия, такие, как Достоевский и Тютчев утверждали наше превосходство в области духа, но на науку не посягали. Тому были очевидные исторические причины. Россия, как известно, сильно припозднилась с подключением к мировому научному процессу. Первый русский, который стал ученым мирового значения, был Николай Иванович Лобачевский, а это начало 19 века. Так что в вопросе научного первенства нам, вроде бы, ловить было нечего. Но, как говорил «великий корифей всех наук», – «нет таких крепостей, которые не брали бы большевики». Сказано – сделано: во всех отраслевых институтах, в министерствах, в Академии наук создавались специальные группы, которым ставилась задача найти русских ученых и инженеров, которым можно было бы приписать известные открытия и изобретения.

А дальше всё очень просто – вот, скажем, есть создатель электрической лампочки знаменитый изобретатель Эдисон. Поискали, нашли, что до патента Эдисона свою электрическую лампочку изобрел также и русский инженер Лодыгин. Всё, дело сделано: Эдисон – это теперь капиталистический делец и плагиатор, а Лодыгин изобретатель и молодец. И совершенно не важно, что и до Эдисона, и до Лодыгина были десятки изобретателей электрической лампочки накаливания. Первый патент относится аж к 1820 году, просто лампочка Эдисона оказалось самой удачной, и стала применяться во всём мире. Это уже не имело никакого значения – приоритет был добыт.

Очень успешно действовал способ удвоение имён. Сейчас объясню что это такое. Есть теорема Гаусса, одна из центральных в математике и физике, и есть русский математик Остроградский начала 19 века, хороший математик. И вот в его неопубликованных бумагах находят некую теорему, которая является одной из множества формулировок теоремы Гаусса. Объявляется, что независимо от Гаусса Остроградский открыл эту теорему и отныне она должна называться теоремой Гаусса-Остроградского. А немного времени спустя стали писать теорема Остроградского-Гаусса. Если бы времена не поменялись, то, глядишь, остался бы уже один Остроградский.

Видимо, стоит сделать некоторое пояснение для неспециалистов – наименования формул, законов и правил в физике и математике это вовсе не законное признание приоритета открывателя. Это просто исторически сложившееся название, часто случайное. Возьмите всем со школы известный закон Бойля-Мариотта. На самом деле открыл его Терри, и Бойль честно пишет в своей книге - «гипотеза м-ра Терри». А Мариотт нашел тот же закон на 14 лет позже, но почему-то история оказалась к нему благосклонной, и он остался в названии закона.

То же и с этой теоремой Гаусса. На самом деле, это закон, вытекающий из трехмерности и изотропности нашей вселенной, его использовал Ньютон за сто лет до Гаусса, а Лагранж формулирует его в своей «Механике» за пятьдесят. Повторяю, именование это просто традиция. И менять название, «восстанавливать справедливость» сто лет спустя – дело в науке совершенно неслыханное. Были и совсем притянутые за уши удвоения, вроде закона Клапейрона-Менделеева. Сам Дмитрий Иванович был бы немало удивлен, узнав, что он является открывателем закона, сформулированного и опубликованного Клапейроном в 1834 году, т.е. в год рождения нашего великого химика.

Порой нашим «историкам науки» надоедало придумывать всякие сложные комбинации и они попросту «переписывали» чужие открытия на своих соотечественников. Выяснилось, что фотоэффект открыл вовсе

не Герц, а Столетов. Видимо, решили, что у Герца и без того достаточно заслуг, может и поделиться. Ну, а если подходящих имен не находилось, в ход шли фантазии, порой самые дикие.

Сейчас уже этого никто не помнит, но в наших учебниках первым человеком, который взлетел на воздушном шаре, был подьячий Крякутный. В учебнике приводились слова из какой-то летописи 17 века о том, что этот самый подьячий сделал «огромный фурвин», наполнил его «вонючим и поганим дымом» и взлетел, но ударился о колокольню и повис на верёвке. О дальнейшей судьбе воздухоплавателя ничего не сообщалось. Даже у нас, тогдашних школьников, это вызывало скорее смех. Почему дым вонючий и поганый? И что за дикое слово «фурвин»? Как можно представить себе воздушный шар из шкур?

Были у наших научпатриотов и другие плодотворные идеи. В уже упомянутом «Курсе истории физики» Кудрявцева, кстати, прекрасном, если отбросить «приоритетный» вздор, все иностранные имена писались на русский манер: Михаил Фарадей, Веньямин Франклин, а в скобках указывалось: английское произношение Майкл, Бенджамен. Вот какой в этом был смысл? Может, они надеялись, что если станем постоянно говорить Михаил, то со временем Фарадей станет русским?

Тогда же накатила и наша национальная болезнь под названием «борьба против засорения русского языка». Предлагалось переименовать все иностранные термины. Так, вместо биологии и геологии предписывалось употреблять «наука о живом» и «наука о земле». Проблемы возникли, правда, с названием профессий, для геолога слово нашлось – «рудознатец», а биолог будет кто? «Живознатец»?

Приступы этой болезни разной степени интенсивности посещают нас регулярно. Были и крупные проекты, в осуществлении которых задействовались целые научные коллективы; писались книги и монографии, защищались диссертации, снимались фильмы. Результатом были масштабные мифы, надолго пережившие кампанию по борьбе за научные приоритеты. Некоторые дожили и до наших дней. О трех таких Больших мифах я и хочу рассказать подробнее.

Миф о великом русском учёном М.В. Ломоносове

Сразу оговорюсь и скажу об этом позже подробнее, что Ломоносов был действительно великий русский ученый, собственно, еще и первый, в смысле очередности, русский ученый, первый профессор, первый академик, первый химик и физик, географ и филолог и много еще чего.

Но для наших научпатриотов все это имело слишком низкий уровень, им же нужен был ученый мировой величины, стоящий в одном ряду с титанами 18 века Ньютоном, Гюйгенсом и прочими. Тут и началось мифотворчество. Все, даже самые скромные научные достижения объявлялись великими открытиями, все теории – великими прозрениями, обгоняющими свое время. Заметим, что в советских учебниках не приводилось ни одного подлинного текста Ломоносова – кроме пары фраз, ведь всякий миф при соприкосновении с действительностью рассыпается. К примеру, одним из главнейших достижений Ломоносова провозглашалось создание кинетической теории тепла. Разберем этот вопрос подробнее.

Идея о том, что тепло есть движение мельчайших частиц материи высказывалась еще Фрэнсисом Бэконом, ее разделяли Бойль и Декарт, и вообще-то восходит она к античным атомистам (Демокрит, Лукреций). Но связать эту идею с тепловыми явлениями и построить кинетическую теорию тепла первым удалось члену Петербургской Академии Даниилу Бернулли. В 1738 году в Петербурге вышло его сочинение «Гидродинамика». Помимо собственно гидродинамики, рассматривает он там и поведение газов. Он представляет воздух, состоящим из частиц, «движущихся чрезвычайно быстро в различных направлениях» и соударяющихся между собой и со стенками сосуда и считает, что эти частицы образуют «упругую жидкость».

Бернулли обосновал своей моделью «упругой жидкости» закон Бойля-Мариотта. Особенно замечателен его следующий вывод: «упругость находится в отношении, составленном из квадрата скорости частиц и первой степени плотности», что всецело соответствует основному уравнению кинетической теории газов в современном изложении! Это была первая в истории физики попытка истолковать поведение газов движением молекул, несомненно, блестящая, и Бернулли вошел в историю, как один из основателей кинетической теории газов и теплоты.

Спустя шесть лет после выхода «Гидродинамики» Ломоносов представил в Академическое собрание свою работу «Размышление о причине теплоты и холода». Опубликована она была еще шесть лет спустя в 1750 г. вместе с более поздней работой «Опыт теории упругости воздуха». В этих двух работах и излагает он свою концепцию. Он тоже объясняет теплоту движением частиц, но в отличие от Бернулли, он полагает, что это не поступательное движение, а вращательное. Почему это так, он объясняет довольно туманно: он не хочет-де обосновывать упругость упругостью (?). Частицы («нечувствительные»), по Ломоносову, – суть вращающиеся шары, при этом «шероховатые» – это чтобы объяснить теплопередачу. А

как же объяснить упругость воздуха, которая у Бернулли была следствием поступательного движения частиц? А вот как: шарики время от времени прыгают с места на место и соприкасаются, а волчки при соприкосновении всегда разлетаются в разные стороны – «как кубари, которые мальчишки пускают на льду».

Что же, теория довольно замысловатая, безусловно, оригинальная, но, увы, неверная. Собственно, и теорией ее можно назвать очень условно, все-таки в 18 веке физика уже говорила языком математики, а в этой работе, как впрочем, и в остальных работах Ломоносова, вы не найдете ни одной формулы или математического вывода. С математикой Михаил Васильевич не дружил, что было, скорее всего, следствием его не слишком хорошего образования. Оба его учителя, что Вольф, что Генкель, типичные немецкие эмпирики, были очень далеки от переднего края тогдашней физики, к тому же антиньютонианцы. Достаточно сказать, что Михаил Васильевич в университете вообще не изучал анализ, и в целом, работа была слабая, бездоказательная, осталась не замечена современниками и была заслужено забыта. При этом «Размышление...», пожалуй, единственная работа по физике, которая может быть названа хоть в какой-то мере научной. Остальные его физические работы совсем слабы, хотя в советских учебниках все они превозносились – естественно, без цитирования.

Но главным достижением Ломоносова считалось открытие Великого Закона сохранения материи и энергии. Формулировку которого следовало заучивать наизусть, а звучала она следующим образом: «Сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, а тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому». На самом деле это цитата из письма Ломоносова к Эйлеру от 5 июля 1748 г., причем цитата препарированная. Наши мифотворцы выбросили один пассаж, который ярко характеризует «глубину и научность» этого закона, а именно, после слов «теряется у другого» в письме следует: «сколько часов я затрачиваю на сон, столько же теряю от бодрствования». И этот детский лепет объявлялся великим открытием!

Прекрасно помню кадры из фильма «Ломоносов». Вот Михаил Васильевич сидит в камзоле и напудренном парике за столом, быстро пишет гусиным перышком и сам себе диктует: «тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению...», потом вдруг вскакивает, хватает стул и с силой толкает его – стул летит по паркету, врежется в другой стул, тот в свою очередь тоже летит и грохается об стену. Ученый удовлетворенно кивает головой – эксперимент удался! – присаживается к столу и продолжает: «столько же теряет...». Такая вот наука.

Напомним, что к моменту написания этого «Великого закона» прошло уже полвека, как Ньютон опубликовал свои законы механики, а Гюйгенс разработал теорию соударения тел на основе сохранения количества движения и «живых сил» (так называли тогда кинетическую энергию). А адресат этого письма, великий математик и механик Леонард Эйлер, тоже член Петербургской академии, издал в Петербурге еще в 1736 г. свою «Механику» – труд в двух томах, набитых математикой, труд, который служит основой всех курсов теоретической механики и по сию пору.

Михаил Васильевич вовсе не был «борцом с иностранным засильем в академии», как нам это излагалось. Как бы он мог с этим засильем бороться, когда он долгое время был единственным русским академиком? Да и «засилье» это было неслабым. В 30-40-е годы там был очень сильный состав, достаточно упомянуть Эйлера и Бернулли. Это, как если бы в наше время в АН СССР служили бы одновременно Бор и Гейзенберг! И германофобом он тоже не был. Лучшие пять лет жизни очень весело провел он в Германии, все его учителя и друзья-коллеги были немцами и даже жена была немка. Да, Михаил Васильевич был в контрах с секретарем Академии Шумахером, но тот и вправду был гад и интриган.

Все вышесказанное, повторяю, не отменяет того очевидного факта, что Ломоносов был настоящий гений. Человек самого простого происхождения, впервые севший за парту в 20-летнем возрасте, исключительно благодаря своим талантам и трудолюбию, стал широко образованным ученым и организатором науки в России. Разнообразие его научных интересов и занятий изумительно – физика, химия, астрономия, приборостроение, металлургия, стекольное дело, география, филология, история. Рассказывая о нем, постоянно приходится использовать слова первый и впервые. Он переводчик первого русского учебника физики, автор первой русской грамматики – перечислять можно бесконечно. Не меньше поражает и размах его административно-научной деятельности: он возглавляет Академию, редактирует академические издания, создает Московский университет, организует экспедиции – тоже можно продолжать бесконечно. Ну и, может быть, самое главное из его «величий» – он был безусловно великим русским поэтом!

Таким обилием занятий, наряду с пробелами в образовании, о которых я упоминал выше, видимо, и объясняется его довольно скромный вклад в естественные науки. Михаил Васильевич был сильно вовлечен в дворцовые интриги, нажил себе кучу врагов, что тоже не облегчало его жизни. Он умер 54-х лет, не сделав и малой части того, на что был способен. Нужно же было биографию великого человека «украшать» дурацкими измышлениями!

Закончив текст о Ломоносове, я заглянул в Википедию и, чтобы вы

думали? Все в целости и сохранности! Михаил Васильевич по-прежнему открыватель «Закона сохранения», сам закон приведен по-прежнему в нужной формулировке. Миф жив.

Миф об изобретателе самолета Можайском

Тут мифология начинается уже с самой личности. Все очень неясно. На портрете в учебнике человек в морском мундире, волосы светлые, густые бакенбарды, прямой нос. На большой картине в Музее авиации и космонавтики человек в штатском, черная борода лопатой, густая шевелюра, курносый. А был еще портрет в мундире чиновника железных дорог. Что же правда? Но давайте по порядку. Я предлагаю в начале нашего рассказа, хотя бы пунктиром, обрисовать историю развития авиации – как ее излагают во всем остальном мире, а потом поговорим о Можайском и его самолете.

Изобретателей самолетов всегда хватало. Дедала и прочих предтеч пропустим, начнем сразу с 19 века. Первым назовем англичанина Кэйли. В 1799 г. он разработал и опубликовал схему планера, которая, в основном соответствует нынешним представлениям. Первая модель, построенная им по этой схеме, совершила полёт в 1804 г. Кэйли скоро понял, что дальнейшее развитие невозможно без фундаментальных исследований, которым и посвятил свою жизнь. Он построил прообраз аэродинамической трубы – вертушку с весами, с помощью которой измерял подъемную силу крыльев с различным профилем. В 1809-10 гг. опубликовал цикл статей под названием «О воздушной навигации» – первый в истории труд по аэродинамике и теории полета. Именно он ввел такие понятия, как «подъемная сила» и «лобовое сопротивление».

В 1849 г. он построил полномасштабный планер, который совершил беспилотный полет, а в 1853 г. был совершен уже пилотируемый короткий полет.

Далее опять англичане, и сразу двое – Хенсон и Стрингфеллоу. В 1841 г. они запатентовали «паровой летательный экипаж» – это первый патент на самолет. И это действительно настоящий самолет, каким мы его привыкли видеть. Прямоугольное крыло правильной формы, фюзеляж, хвостовое оперение с рулями высоты и направления, шасси, мотор, два толкающих винта – все на месте. Жаль, я не могу привести здесь чудесный чертеж из этого патента – там конструкция крыла как будто срисована из сегодняшнего учебника по самолетостроению! Эти двое были гениальными инженерами, но и большими фантазерами тоже. Они основали авиакompанию – первую в истории – и собирались, ни больше ни меньше,

как возить туристов в Египет! Прогорели, конечно. Хенсон уехал затем в Америку, там он, между прочим, запатентовал т-образный бритвенный станок и затем продал его фирме «Жиллет», а Стрингфеллоу продолжил работать над самолетом один. В 1848 г. он построил трехметровую модель с миниатюрным паровым двигателем. Модель летала и демонстрировалась на Всемирной выставке 1868 г., где была отмечена Золотой медалью. Самолетик сохранился и находится в Лондонском музее науки и техники.

Наш следующий герой – француз, морской офицер дю Тампль, интересен не только тем, что создал полноразмерный самолет, который строил 15 лет на собственные деньги, но и своими поистине провидческими техническими решениями. Свой самолет он запатентовал в 1857 г. По общей схеме аппарат, пожалуй, не так хорош, как самолет Хенсона и Стрингфеллоу, но зато буквально набит гениальными идеями. Дю Тампль пробовал на своем самолете двигатель внутреннего сгорания (мотор Лемуара) и паровую машину, для которой он изобрел очень легкий и мощный паровой котел (котел Тампля). А еще он придумал стабилизатор в виде веера, который мог менять свой раствор (изменяемая стреловидность), специальный механизм, с помощью которого можно было в полете поворачивать в вертикальной плоскости мотор, то есть имелся изменяемый вектор тяги (привет от Су-35), а также убирающиеся шасси с амортизаторами. А каркас крыльев был сделан из алюминиевых труб. Моряк просто фонтанировал идеями! В 1884 г. самолет испытывался в Кале, но, кажется, так и не полетел.

В конце 19—начале 20 вв. было множество других пионеров авиации, было построено около 200 нелетающих, но «подлетающих» и подпрыгивающих самолетов.

Но прежде, чем перейти к первому «настоящему» полету, нельзя не сказать хотя бы пару слов об Отто Лилиентале. Это был «человек-птица», как его называли современники, первый «налетающий» сотню часов, и первый погибший летчик-испытатель. Успешный инженер и предприниматель, все свои деньги и все свое время тратил на постройку и испытания планеров. С 1890 по 1898 гг. он построил два десятка планеров и совершил более 2000 полетов! Освоил подъем и снижение, приземление, развороты – видимо это был первый человек, научившийся летать. Что важно, свои полеты он тщательно документировал, изучал и результаты публиковал. Неоценимая помощь последующим пионерам! В одном из полетов он был застигнут сильным порывом ветра и разбился.

В начале нового столетия, с появлением легких и надежных двигателей внутреннего сгорания стало ясно, что гонка за место на историческом пьедестале вышла на финишную прямую, первый самолет должен вот-вот

полететь. Сантос-Дюмон и Фарман во Франции, Лэнгли, Уайтхед и братья Райт в Америке практически одновременно приступили к испытаниям своих созданий.

По мнению большинства историков авиации, первыми были все же братья Райт, именно они совершили первый управляемый полет. Тут надо четко обозначить, что надо понимать под управляемым полетом. Как мы знаем, просто подлететь не так-то уж трудно. Есть у авиаторов такая шутка: летает все, только вот ежик летает плохо, не пнешь, – не полетит. Американская Ассоциация аэронавтики установила следующие критерии для «настоящего» полета: самостоятельный взлет, полет по кругу и безопасное приземление. Братья Райт, владельцы велосипедной мастерской, включились в мировое состязание в 1900 г. Заметим, что весь проект они финансировали из своих весьма скромных сбережений. От всех остальных участников гонки их отличало то, что они не жалели времени и средств на научную подготовку проекта. Они изучали опыт предшественников, особенно результаты Лилиентала, построили аэродинамическую трубу и провели более 200 продувок основных элементов конструкции самолета. Особое внимание уделяли управляемости самолета – в частности, они придумали скручивание крыльев для управления креном – прообраз будущих элеронов. Такой вдумчивый подход принес свои плоды – уже первая их модель «Флайер-1» смогла оторваться от земли и пролететь 260 м. Это произошло 17 декабря 1903 г. А в 1905 г. на «Флаере-3» они уже смогли пролететь по замкнутому маршруту 38 км! Важность и значимость любого изобретения видны из его долговечности; так вот, райтовская компоновка органов управления оказалась придуманной на века – загляните в кокпит любого современного самолета – и увидите все то же, что было в «Флайер-3»: педали для управления рулем поворота и ручку-штурвал для управления креном и рулем высоты. Заметим, что первые самолеты, закупленные для российской армии, были самолеты фирмы братьев Райт.

Ну вот, теперь поговорим о Можайском-мифе и о Можайском – реальном изобретателе. В наших школьных учебниках никаких американских братьев и прочих англичан и французов не существовало; история авиации была короткая и ясная: подьячий Крякутный, братья Монгольфье (этих братьев почему-то пощадили) и сразу Можайский.

Адмирал увлекся идеей полетов, наблюдая за полетом птиц. Сначала он запускал воздушных змеев, в том числе с помощью тройки лошадей, а потом построил самолет с паровым двигателем и полетел. В качестве документального доказательства в учебнике приводились слова из письма какого-то его друга: «Счастливый ты человек, Саша, первым из людей полетишь, как птица!». Были и две картинки (помимо портрета). На одной

– по дороге мчится тройка, а в небе висит большой коробчатый змей, на другой – лодка с прямоугольными короткими крыльями, с четырьмя колесами и торчащей черной трубой, из которой валит дым, летит по небу, а внизу дамы и господа в старинных нарядах, запрокинув голову, удивляются. Картинка, и в правду, вызывала удивление. Любой школьник-авиамоделист понимал, что такая штука летать не может. Ну ладно, что взять со школьного учебника.

Но и чтение многочисленных книг и брошюр, дела не проясняло. Крылья без всяких признаков профиля, просто деревянные рамы, обтянутые тканью, совершенно неправильное относительное удлинение 1,6; хвостовое оперение вплотную за крыльями – абсолютно фатально для управляемости машины. Огромные размеры: размах крыльев 23 м, длина 15 м, высота шасси 2 м и это при колее шасси около 1 м – да ведь эта машина должна была заваливаться набок при первом порыве ветра! Ну и конечно, мощность моторов 30 л.с. – катастрофически мало для указанного веса в 1,5 тонны.

По мере спада активной части научно-патриотической кампании ситуация стала немного проясняться. Появилась возможность беспристрастного обсуждения имеющихся документов. Нашлись храбрецы, которые пришли к выводу: нет, не летал, а лишь подлетел. Были совсем уж отчаянные, что утверждали: не летал вовсе. Таких, понятно, клеймили, обзывали очернителями (слово русофоб еще не было изобретено). Разъяснилась и история с портретами – миф лепили в спешке и все перепутали: мужик в железнодорожном мундире оказался братом изобретателя, а чернобородый – актером в «фантазийном» гриме Можайского из фильма «Жуковский».

К дискуссии подключились и ученые, было два или три заключения ЦАГИ. Вначале говорили, что оторваться от земли может, но разгоняясь под сильный уклон. Последнее заключение (1982 г.): «нет, летать не может». Эти споры – летал, не летал, да какое у самолета аэродинамическое качество, да хватает ли мощности моторов – продолжают и по сей день, загляните на любой авиационный исторический сайт. Но я заглядывать вам не советую; это совершенно бессмысленно. Уже в течение 60 лет все обсуждают вовсе не конструкцию самолета Можайского, какая бы она ни была, обсуждается так называемая реконструкция Шаврова!

В.Б. Шавров, известный советский авиаконструктор, автор книг по истории авиации был привлечен к работе над проектом «Можайский». Ему было поручено восстановить облик и технические характеристики самолета. Сделать это было совсем не просто – ни чертежей, ни фотографий, ни технических описаний не существовало. Из документов имела лишь

привилегия (аналог патента), выданная А.Ф. Можайскому в 1880 г. с очень схематичным чертежом, без всяких размеров. Кое-что можно было почерпнуть из документов комиссий, которые рассматривали просьбы о финансировании. При этом изобретатель подчеркивал, что проектируемый аппарат будет отличаться от того, что описан в привилегии. Единственно, повезло с моторами. Английская фирма, изготовившая паровые моторы для Можайского, опубликовала в 1880 г. в одном из английских технических журналов их чертежи и характеристики. Всё остальное, как писал сам Шавров, он почерпнул из воспоминаний очевидцев или додумывал сам – как это могло бы быть. Понятно, что живых очевидцев в 1950 г. не нашлось; он использовал показания очевидцев, которые были записаны в начале 20 века, но и их было мало, и были они очень разноречивы. Насколько получилось похоже на то, что строил адмирал Можайский, бог весть. Фактом остается, что абсолютно все изображения, все книги, брошюры, фильмы основаны на конструкции Шаврова.

Осталось теперь рассказать то немногое, что нам доподлинно известно об А.Ф. Можайском и его самолете. В 1877 г. комиссия военного министерства выделяет контр-адмиралу Можайскому 3000 руб. для проведения научных исследований с целью постройки летательного аппарата. Уже через год, в марте 1878 г. Можайский вновь обратился в комиссию с просьбой выделить ему средства (около 20000 руб.) на постройку полноразмерного «летательного снаряда». Он пришел к выводу, «что требуемые для решения вопроса данные могут быть получены только с аппаратом таких размеров, на котором силою машины и направлением аппарата мог бы управлять человек». Согласно проекту, самолет должен был иметь размах крыла 23 м, длина фюзеляжа (лодки) 15 м, вес около 820 кг (50 пудов), три винта – средний совершенно чудовищного диаметра 8,5 м – должны были приводиться в движение двумя двигателями Брайтона (один из ранних двигателей внутреннего сгорания) общей мощностью 20 лошадиных сил. Комиссия отказала в выделении денег. Причины: «потребная мощность занижена автором в два раза, если исходить из его же собственных опытных данных»; «аппарат может опрокидываться и падать вследствие значительного протяжение наклонной плоскости и неподвижности ее соединения с гондолой»; «запрашиваемая сумма слишком велика».

Но Можайского было уже не остановить, идея захватила его целиком. Он начинает строить аппарат, одновременно пытаясь выбить финансирование. В 1880 г. он получает 2 500 руб. на командировку в Америку и Англию для покупки двигателей. В том же году он получает Российскую привилегию на свой «воздухоплавательный снаряд». Кстати, он был не первый русский, получивший патент на самолет, до него был некий Телешов.

Летом 1882 г. военное ведомство опять пошло навстречу изобретателю и выделило ему место для постройки аппарата на военном поле в Красном Селе под Петербургом. В 1883 г. создается комиссия Русского технического общества для ознакомления с работами Можайского и оказания ему возможной поддержки. Возглавлял комиссию известный изобретатель и исследователь воздушных винтов Рыкачев. Комиссия постановила «поддерживать достройку аппарата и провести на нем интересные опыты», но деньгами помочь не смогла. С комиссией Рыкачева связан один странный момент – Можайский отказался (и это зафиксировано в документах) продемонстрировать комиссии свой аппарат. Что это означает? Никаких документальных следов того, что происходило далее, не существует. А в 1890 г. А.Ф. Можайский скоропостижно умер.

Существенно позже, в начале 20 века появились сообщения о якобы имевшей место попытке взлета. Сообщения очень разноречивые. Даты назывались разные, от 1882 до 1885 г. Согласно одному сообщению, самолет потерпел аварию, при разгоне свалившись набок и сломав крыло. Вроде бы «механик получил увечья»... По другим сведениям, все же оторвался от земли, а уже потом упал на крыло. Так написано и в Военной энциклопедии 1914-го г. Все сведения – «по воспоминаниям очевидцев».

Есть еще один документ. Это протокол комиссии под председательством лейтенанта Борескова, которая осмотрела самолет 11 июля 1890 г. вскоре после смерти его создателя. Ни моторов, ни винтов на самолете не оказалось, крылья и хвостовое оперение представляли собой деревянные рамы, не обтянутые обшивкой, ткань для обшивки сложена в тюках. Что это значит? То ли аппарат был не достроен, то ли он был в таком состоянии после ремонта, последовавшего за неудачным испытанием? Это мы, скорее всего, никогда уже не узнаем, поскольку новые документы вряд ли найдутся. О самолете и его конструкторе надолго забыли и вспомнили опять в конце 1940-х в связи с «борьбой за приоритеты».

Ну вот, кажется и все. Так что, ни как выглядел самолет Можайского, ни его характеристики, ни его судьба не известны. А может, все-таки летал? Скорее всего, – нет, иначе это событие хоть как-то было бы отмечено. Надо представлять себе атмосферу тех лет, когда общество было чрезвычайно увлеченно техническим прогрессом, тот жадный интерес публики ко всяким чудесам техники, и особенно воздухоплавания. И чтобы такое яркое событие не попало в газеты? Ни разу не упоминает о нем (как и вообще о Можайском) и великий русский ученый, энтузиаст авиации Жуковский.

Закончить хочу я словами известного английского историка авиации Дж. Александра о самолете Можайского: «Это был личный подвиг адмирала Можайского, но влияния на развитие авиации он не оказал».

Миф об изобретателе радио Александре Степановиче Попове

Изобретение радио стоит особняком в ряду прочих мифов. Александр Степанович Попов действительно был одним из пионеров радио и сыграл важную роль в развитии радиотехники в России. Мифотворцам было на что опереться (это вам не подъячий Крякутный!), и миф был раскрыт очень основательно – бесконечные книги, брошюры, фильмы, празднования юбилеев. А день 7 мая, годовщина доклада Попова на заседании Российского физико-химического общества (РФХО) в 1895 г., был объявлен Днём Радио и числился среди главнейших советских праздников. Наши мифотворцы очень к месту добавили в миф элемент драматизма – наш честный бескорыстный изобретатель-патриот против хитрого, жадного ворюги-капиталиста Маркони. Но об этом позже, а пока я предлагаю, как и в предыдущем рассказе, начать с действительной истории радио.

Удивительно, но первая передача радиосигналов произошла на самой заре эры электричества, точнее, именно с этого опыта эра электричества и началась. Произошло это в 1788 г. Итальянец Луиджи Гальвани, профессор медицины в Болонье экспериментировал с препарированными лягушками, изучая возникновение нервного возбуждения. Случайно он заметил (по легенде, заметила его жена), что лягушачья лапка, к которой прикасались скальпелем, дёргается в тот момент, когда через кондуктор электрофорной машины, стоящей на соседнем столе, проскакивает искра, – и это без всякого контакта! Эффект наблюдался даже на удалении десятка метров.

Это и была первая в истории передача радиосигнала: искровой генератор как передатчик, металлический скальпель как приёмная антенна и лягушачий нерв как приёмник-детектор. Если бы Гальвани приделал к лягушачьей лапке рычажок с карандашом и пристроил бумажную ленту, радиотелеграф заработал бы на 50 лет раньше.

Понятно, что ни сам Гальвани, ни кто-то другой, не смогли тогда объяснить загадочную передачу сигнала без всякого провода, через пустое пространство. Но это явление «страстно заинтересовало» учёного, результатом стали его знаменитые опыты и ошибочное «открытие животного электричества». Наблюдательный Гальвани заметил также, что лягушачьи лапки, подвешенные на металлическом стержне, сокращаются во время атмосферных электрических разрядов – вот и первый «грозоотметчик»!

Исследования Гальвани вызвали огромный интерес современников и были продолжены многими учёными; среди них был и его соотече-

ственник, профессор физики в Павии Алессандро Вольта. Он повторил опыты Гальвани, правильно их истолковал и изобрёл первый в истории источник постоянного тока – медно-цинковую батарею, «вольтов столб». Произошло это в 1800 г., так что первый год нового столетия открыл эру электричества.

В последующие 40 лет – даже по нынешним меркам очень скоро – трудами Эрстеда, Ома, Ампера, Генри, Фарадея и других была создана наука об электромагнетизме; человечеству открылся огромный новый мир электрических явлений. В 1840-ых гг. появилось и первое практическое применение новой науки – электрический телеграф. И вот телеграфисты-практики столкнулись с теми же загадочными явлениями, что в своё время Гальвани. Проходящие рядом телеграфные линии влияли друг на друга. Помехи в линиях вызывали работающие динамо-машины и атмосферные разряды. Последние могли оказывать своё действие на расстоянии многих километров. Тогдашняя электродинамика допускала и объясняла взаимовлияние проводников через пустое пространство, но лишь на близких расстояниях. Воздействие же на расстоянии многих десятков метров было совершенно необъяснимо.

Путеводную нить дал Фарадей; именно он ввёл в физику новое понятие поля и указывал, что в электрическом поле могут распространяться возмущение и волны. Но дальше у учёных все надолго застопорилось, слишком необычным и сложным было понятие поля. Зато изобретатели, конечно же, ухватились за эти эффекты – если сигналы передаются на многие километры, их же можно использовать для передачи информации.

Первый известный патент на «беспроволочный телеграф» принадлежит американскому парикмахеру Лумису. Он запатентовал передачу сигналов с помощью двух разделённых телеграфных аппаратов, провода от которых были подняты с помощью воздушных змеев высоко в небо. Какой-то проблеск правильной идеи у этого парикмахера был, но, понятно, ничего путного у него не получилось. После него были ещё множество изобретателей и множество патентов; отметилс своим патентом и Эдисон, куда же без него. Совершенно очевидно, что для простых, да хоть бы и квалифицированных, изобретателей решить эту задачу методом тыка или с помощью случая было невозможно. Нужна была теория, и, как говаривал родоначальник марксизма Карл Маркс, «эпоха требовала титанов, и титаны явились».

В 1860 г. Джеймс Клерк Максвелл опубликовал свою теорию электромагнитного поля. Используя очень хитроумную модель, он придумал механизм распространения волн в электромагнитном поле и вывел свою знаменитую систему уравнений, описывающих этот процесс. Теория

Максвелла безусловно была самой сложной физической теорией того времени; надо сказать, что и сейчас она не так уж легка для понимания. Эту теорию нынче «проходят» уже в школе, затем изучают в институте, она включена в курсы физики всех технических специальностей, но уверяю вас, хорошо, если один студент из тысячи разобрался в ней, как следует (естественно, я не имею в виду студентов-физиков и радиотехников). Этим, видно, и объясняется то, что, она долго не была общепринятой и окончательно утвердилась лишь после работ Генриха Герца.

Вот и появилось имя супергероя нашего рассказа. Генрих Герц был любимым учеником главы тогдашней немецкой физики Гельмгольца; ему-то и поручил Гельмгольц проверить и опровергнуть теорию Максвелла – сам он ее не принял. Герц, тогда профессор физики в Карлсруэ, воплощал в себе ставший уже в те времена редким, а ныне вовсе исчезнувший тип универсального учёного – гениального теоретика и блестящего экспериментатора в одном лице. Герц разобрался в очень сложной математике Максвелла, переформулировал и записал его уравнения в симметричной форме (именно в этой форме мы их используем) и в результате принял точку зрения Максвелла. Используя эти уравнения, преодолев существенные математические трудности, он построил теорию излучения некоторых простейших видов излучателей; особенно важной для дальнейшего оказалась его теория излучения диполя. Это практически всем знакомая дипольная антенна, лет 50 назад такие т-образные штуки торчали на каждом балконе.

Герц показал, что диполь излучает, в основном, в диаметральной плоскости; это обстоятельство и делает возможным радиосвязь на дальние расстояния. Вооружившись передатчиком и приёмником, Герц экспериментально доказывает существование электромагнитных волн и их тождественность световым. Он изучает отражение, преломление и поляризацию этих волн, измеряет их скорость – она оказывается, как и предсказывала теория, равной скорости света. Он фокусирует эти волны с помощью параболической антенны (пробораз наших спутниковых тарелок).

В общем, можно сказать, что радиотехника как наука, вышла из головы и рук Герца. Результаты своих трёхлетних исследований Герц изложил в 1888-91 гг. в работах «О лучах электрической силы», «Исследования о распространении электрической силы». А еще он открыл и описал фотоэффект, разработал свой вариант механики без использования понятия силы, изучал катодные лучи, в общем, обыкновенный гений.

Далее, Герц задумался над тем, что будет, если излучатель и приёмник движутся со скоростью близкой к скорости света. Результатом этих размышлений стала его работа 1890 г. «Об основных уравнениях электроди-

намики для движущихся тел». Это название почти в точности совпадает с названием знаменитой статьи Эйнштейна с изложением основ теории относительности. Герцу было всего 33 года, он был в расцвете своего таланта и, может быть, именно он стал бы творцом теории относительности, но судьба распорядилась иначе – в 1894 г. Герц умер от воспаления лёгких.

Открытия Герца вызвали колоссальный интерес, если не сказать ажиотаж, среди физиков и инженеров. В десятках лабораторий мира повторялись его опыты и, конечно, очень многие сказали: Ага! Это и есть тот самый вожаденный «беспроводной телеграф». Браун и Слаби в Германии, Риги, Онести, Маркони в Италии, Попов и Йодко-Наркевич в России, Бранли во Франции, Лодж в Англии, Резерфорд (будущий великий физик) в Новой Зеландии, Джагадиш Боше в Индии, – вот далеко не полный список пионеров радио, пошедших по пути, проложенному Герцем. Я не включил в этот список Теслу, он шёл своим путём.

Но для того, чтобы применить герцевскую технику для связи, нужно было что-то сделать с приёмником. Герц регистрировал сигнал, наблюдая искру в разрядном промежутке приёмника. При передаче на больших расстояниях эта искра была совсем маленькой и слабой, так что приходилось затемнять помещение и использовать лупу. Для экспериментальных лабораторных целей этой техники Герцу хватало, но для практики это было, конечно, неудобно.

И вот, французский учёный Бранли, который целенаправленно пытался использовать технику Герца для передачи сигналов, решил применить один приборчик, который позже стали называть «трубкой Бранли», или «когерером». Он использовался для защиты телеграфных линий от атмосферных разрядов и представлял собой стеклянную или эбонитовую трубочку с электродами по концам, пространство между которыми заполнялось металлическим порошком. В нормальном состоянии когерер имеет высокое сопротивление, но, если между электродами пропустить высокочастотный импульс, сопротивление порошка резко уменьшается, и это можно измерить электрическим прибором. Бранли подключил когерер к приёмнику Герца и смог регистрировать приходящие сигналы с помощью чувствительного стрелочного прибора. Это был важный шаг к практическому применению «герцевских волн». Присоединив к приёмнику проволочную антенну, Бранли регистрировал с помощью своего когерера сигналы от катушки Румкорфа на расстоянии до 20 м!

К сожалению, у когерера был существенный недостаток: он «застревал» в состоянии с низким сопротивлением и был не способен принимать следующий сигнал. Чтобы привести когерер в исходное состояние, нужно было его встряхнуть, обычно хватало щёлкнуть ногтем по трубоч-

ке. Естественно, напрашивалась необходимость в каком-то устройстве для встряхивания когерера, и это устройство сделал английский физик Лодж. Он придумал механизм электрического звонка к дощечке, на которой располагался когерер (к идее когерера он пришёл независимо от Бранли). Свой приёмник, представляющий собой приёмник Герца с трубкой Бранли и страхователем, он демонстрировал в 1894 г. в Лондонском Королевском обществе перед большой аудиторией. Тогда же он провёл и опыты по регулярной передаче сигналов в Оксфорде; расстояние между передатчиком и приёмником составляло около 40 м, и они находились в разных корпусах. Опыты Лоджа получили очень широкую известность, публикации появились во многих изданиях.

Какое-то из этих сообщений попало на глаза и русскому инженеру-электротехнику Александру Степановичу Попову. Вот мы и подошли к герою нашего рассказа. Я не стану пересказывать биографию Попова, упомяну только о том, что связано с радио. А. С. Попов закончил Петербургский университет, в 1882 г. защитил магистерскую диссертацию по электрическим машинам. По материальным соображениям ему пришлось покинуть университет, и он с 1883 г. стал преподавателем в Минном офицерском классе и в Техническом училище морского ведомства в Кронштадте, где он и проработал до 1901 года. Известно, что в 1889 г. Попов читал цикл популярных лекций об исследованиях Герца с демонстрацией опытов, по выражению Столетова, был «пропагатором герцологии»; знал он и об опытах Бранли.

7 мая 1895 г. Попов выступил на заседании РФХО с лекцией «Об отношении металлических порошков к электромагнитным колебаниям». Именно эта лекция считается обнародованием изобретения радио. Текст лекции не сохранился, есть только короткий протокол: «Исходя из опытов Бранли, докладчик исследовал резкие изменения в сопротивлении, испытываемом металлическими порошками в поле электрических колебаний». Далее следует краткое описание прибора, разработанного автором «для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве».

В январе 1896 г. в Журнале РФХО Попов публикует доклад, который «в главном повторяет все то, что было произнесено на лекции в мае 95-го». Несколько позже выходит еще статья в «Вестнике метеорологии». Это сокращённая версия доклада, но зато с рисунками и некоторыми цифрами. Поскольку именно этот доклад считается главным документом, на котором базируется утверждение о приоритете Попова в изобретении радио, есть смысл разобрать его подробно и внимательно. Полагаю, что самым правильным будет просто прочитать его, он висит в сети. В прежние времена он был недоступен, а теперь мы можем, так сказать, припасть к исто-

кам и не полагаться на всякие комментарии и описания, часто недобросовестные.

Итак, Попов начинает с постановки задачи: «В начале текущего года я занялся воспроизведением некоторых опытов Лоджа над электрическими колебаниями с целью пользоваться ими на лекциях. В результате я пришёл к устройству прибора, служащего для объективных наблюдений электрических колебаний, пригодного как для лекционных целей, так и для регистрирования электрических пертурбаций, происходящих в атмосфере». Далее он пишет о том, что разделяет взгляды Лоджа на физику работы когерера. Затем автор описывает свои эксперименты с различными порошками для заполнения когерера. Автор находит, что наилучшие результаты получаются все же с железными опилками, как у Лоджа. Далее идёт самое интересное – конструкция прибора. Прибор представляет собой приёмник Лоджа с когерером, но есть и одно отличие – вместо постоянного встряхивания, как у Лоджа, Попов использует изобретённую им автоматику. Он подключает к когереру цепь с батареей и реле. Как только на когерер поступает электромагнитный сигнал, ток тычет через реле, реле включает электрический звонок, причём звонок расположен так, что его молоточек при прямом ходе стучит по колокольчику, а при обратном по трубочке когерера, то есть встряхивание происходит автоматически после каждого принятого сигнала.

Далее он пишет фразу – для мифотворцев очень важную – прибор на открытом воздухе принимал электромагнитные колебания от большого вибратора Герца на расстоянии около 30 сажен (60 м). Далее Попов рассказывает об испытаниях прибора в качестве «грозоотметчика» на метеостанции Лесного института летом и осенью 1895 г. Заканчивается доклад словами: «В заключение могу выразить надежду, что мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией».

Заметим, что ни протокол, ни текст доклада целиком никогда не публиковались, только «нарезка» из цитат. Причём состав их постоянно менялся, вместе с версией событий. Первая версия была простая и внятная: глупый немецкий профессор Герц открыл электромагнитные волны, но на вопрос, видит ли он какое-нибудь применение их на практике, неизменно и твёрдо отвечал «нет!». Эта байка приводилась повсеместно. А затем пришёл наш умный Попов, догадался, как использовать эти волны, изобрёл когерер с автоматическим страхователем, и радио явилось. Естественно, что для такой версии доклад Попова становился абсолютно «непечатным материалом». Позже версия смягчилась, появились упоминания о Бранли

и Лодже, но при этом вклад Попова сильно скукожился, остался только встряхиватель. Как-то несерьёзно. Пришлось объяснять миру, что именно автоматика Попова и есть великое изобретение! То есть, главное – это вовсе не техника Герца и не когерер Бранли-Лоджа, а именно эта нехитрая автоматика. В бесчисленных книгах и брошюрах утверждается, что только эта автоматика обеспечила возможность телеграфной связи, поскольку могла принимать и воспроизводить как точки, так и тире.

В этом месте я хочу остановиться и внести ясность. Конечно, автоматика Попова не передаёт никаких тире, тире у него – это просто серия точек. Но ведь и у Лоджа и точки, и тире передавались сериями разной длительности. В чем же тогда преимущества автоматики Попова? Видимо, Попов разработал эту автоматику именно для регистрации спорадических сигналов, вроде атмосферных разрядов, о чём, собственно, он и пишет. Поскольку такие сигналы приходят довольно редко, нет смысла постоянно встряхивать когерер, нужно только быстро восстановить его для приёма следующего сигнала. Напротив, регулярное встряхивание Лоджа как раз более подходит для приёма телеграфных сигналов. Встряхивание с определённой частотой и фазой является фактически модуляцией и может быть использовано для выделения сигналов на фоне помех.

Есть еще вопрос чувствительности. У Лоджа сигнал регистрируется чувствительным гальванометром. Если электромагнитный сигнал слабый, близкий к порогу срабатывания когерера, то и ток через когерер мал, и измерить его можно только чувствительным электроизмерительным прибором. У Попова же ток когерера регистрируется с помощью реле, а реле – это довольно грубая штука. Попов называет ток срабатывания реле «от 4 до 5мА». Лодж со своим гальванометром мог измерять токи на три порядка меньшие. То есть Попов искусственно «обрезал» чувствительность приёмника, что было, возможно, разумно для грозоотметчика.

И еще одно замечание. Вся эта суета вокруг встряхивания для истории радио совершенно несущественна. Дело в том, что время когереров очень скоро закончилось, появились другие способы детектирования, более чувствительные и не требующие никаких молоточков и звонков.

Ну вот, мы потратили кучу времени на разбор доклада, зато можем теперь квалифицировано решить – тянет ли данная публикация на изобретение радиосвязи? Очевидно, нет. Во-первых, радио, как любое средство связи, содержит как минимум два устройства – передатчик и приёмник. В докладе же говорится исключительно о приёмнике, к тому же о приёмнике-регистраторе атмосферных разрядов. Второе. Приёмник отличается от приёмника Лоджа лишь устройством встряхивателя; это отличие не даёт никакого положительного эффекта. Что же остаётся?

Мифотворцы особенно напирают на слова Попова о том, что он передавал сигналы на расстоянии 60 м. Что из того? Лодж в 1894 г. демонстрировал передачу на 40 м, а до него Бранли на 20 м, а еще раньше Герц на 12 м. Не следует забывать и о других пионерах. Резерфорд в то же примерно время передавал сигналы «на три четверти мили», используя при этом свой оригинальный магнитный детектор, а не когерер Лоджа. Да и сам Лодж тоже не спал. В конце 1894 г. он телеграфировал уже на расстояние 135 м, и не просто импульсы, а код Морзе.

Но наших научпатриотов это совершенно не интересовало. В их бинарных мозгах могли поместиться только два имени, это были Попов и Маркони; задача была – непременно доказать приоритет перед Маркони. Притом, что, совершенно очевидно, Маркони тоже изобретателем радиосвязи не является. Появление радио это редкий в истории техники случай, когда мы можем точно назвать имя изобретателя – Генрих Герц. Герц не только создал теоретические предпосылки радио, но и разработал устройства – передатчик и приёмник, которые легли в основу всех конструкций радиостанций первого, «искрового» периода развития радио.

Вот как видит тогдашнюю ситуацию сам А.С. Попов: «Заслуга открытия явлений, послуживших Маркони, принадлежит Герцу и Бранли, затем идёт целый ряд приложений, начатых Минчиным, Лоджем и многими после них, в том числе и мною, а Маркони первый имел смелость стать на практическую почву и достиг в своих опытах больших расстояний усовершенствованием действующих приборов». Как всегда, у Попова, просто, ясно и по делу.

В конце концов, история науки это не конкурс красоты. Самое главное в истории, это то, что из неё можно извлечь уроки. Я постараюсь это сделать из сравнения стилей работы этих двух пионеров радио.

Нечто вроде советов начинающему изобретателю. Первый совет. Начальные условия у Попова существенно лучше. Он образован, имеет опыт исследовательской работы, в его распоряжении прекрасно оборудованная казённая лаборатория, у него есть помощники. Он и начинает заниматься темой раньше. Его приёмник 1895 г. – несомненный успех, Попов опережает многих и останавливается. Помните последнюю фразу из его доклада? Приёмник можно будет использовать для передачи сигналов, если появится достаточно мощный передатчик. Так и хочется сказать: зачем же ждать, когда появится? Почему не заняться этим самому, вот достойнейшая задача! Но Попов предпочитает ждать и теряет темп. Так что вот вам совет номер один: не останавливаться, остановка – смерть, только вперёд!

И еще одна разница в стиле бросается в глаза. Попов всегда работает один – и когда изобретает, и когда работает экспертом по радиотелегра-

фии. Верный Рыбкин не в счёт, он все-таки помощник, ассистент. Никаких фирм, никаких бюро. Маркони же, наоборот, всегда окружён людьми, с ним сотрудничают классные специалисты. Был у него какой-то дар заставлять работать на себя и на дело людей гораздо более квалифицированных, чем он сам. Этим, кстати, он напоминает одного из героев нашего времени – Стива Джобса. Итак, совет номер два: никогда не работай один, залог успеха – сильная команда.

Так все же – гордиться Поповым или нет? Конечно, гордиться! Один из пионеров радио, в одном ряду с Теслой, Резерфордом и другими – прекрасная компания!

Вот мы и разобрали три мифа, а могли бы и много больше. Несколько слов в заключение. Вся эта научно-патриотическая вакханалия вовсе не простительная слабость, дескать, подумаешь, немного похвастались. Она имела многочисленные трагические последствия для страны, скажу хотя бы об одном. Многократно описан и исследован страшный разгром советской биологии во времена господства «истинно патриотической мичуринско-лысенковской науки о живом». Все знают об учёных, изгнанных из науки, ошельмованных, казнённых. Но надо представлять себе еще одну, абсолютно глобальную катастрофу. Лысенковская банда первым делом наложила лапу на сельскохозяйственное образование в стране; все учебные программы были изменены, вместо нормальной биологии студентам стали преподавать антинаучную ересь. И вот в течение почти 20 лет сотни тысяч агрономов, селекционеров и зоотехников шли в сельское хозяйство с антинаучными сведениями вместо знаний. Представьте себе, если бы все инженеры вместо законов Ньютона проходили бы физику Аристотеля? И какая бы у нас была промышленность? Российское сельское хозяйство и без того натерпелась от советской власти – коллективизация, голодомор, послевоенное разорение, но и эти сотни тысяч мичуринцев тоже сделали немало для того, чтобы Советский Союз так никогда и не смог сам себя прокормить. Что, в свою очередь, явилось одной из причин заката и конца Советской империи.

Насаждение властью безудержной национальной гордости имело и фатальные последствия для самосознания и духовного состояния народа. В сочетании с государственным гнетом это сформировало в народном сознании классический холопский комплекс: страх и униженность перед властью в сочетании с национальной спесью и чувством превосходства перед другими народами.

Мудрый вождь – даром, что сам нацмен – даже не подумал о том, какие разрушительные процессы запускает он, вызывая к жизни призрак рус-

ского шовинизма. Ведь безудержное самовосхваление русских бесконечно обижало и оскорбляло другие народы многонациональной страны и не могло не вызывать ответного национализма в республиках. Сама тогдашняя формула Советского Союза: «семья братских равноправных народов во главе с великим русским народом» – звучит не только оскорбительно для других народов, но и логически противоречива. Как может быть одновременно – «равноправные» и «во главе»? А эпитет «великий» полагался только русскому народу. Естественно, что движение по старой имперской колее закончилась для Советского Союза так же, как и для предыдущей Российской империи. «Нерушимый», «сплочённый навеки» Советский Союз развалился в августе 1991 года. В три дня.

«Если ты все делаешь, как прежде, не удивляйся, что и результат будет прежним».

Так что же, спрашивается, теперь уж и погордиться нельзя? А Павлов, Менделеев, Мечников? Ведь были же и реальные великие? Гордиться, конечно, можно. Но соблюдая меру и историческую правду. Вообще-то, русский народ, по преимуществу скромный. Нас учили в семье, в детском саду, в школе: «будь скромным, не гордись, не хвались, пусть тебя другие похвалят» и тому подобное. И действительно, редко увидишь, чтобы человек вышел и стал сам себя хвалить: я самый-самый, – как-то у нас это не принято. Но когда мы говорим не «я» а «мы» – тут уж никакого удержу: мы и самые умные, мы и самые храбрые, мы и самые духовные... Странно, не правда ли? И, вообще, чувство национальной гордости довольно-таки иррационально. Разве гениальность Менделеева делает меня умнее? А сила Ивана Поддубного укрепляет мои мышцы?

Так что стоит подумать, так ли уж нужна эта национальная гордость. И что делать, скажем, англичанам? Им, с их ньютонами, фарадеями, максвеллами и толпой прочих гениев, вообще придётся ничем другим не заниматься, как только гордиться, отмечать годовщины да возлагать венки? А вот, например, бразильцам, якутам, и народу тутси, как, впрочем, и подавляющему большинству всех народов Земли, которые пока что никак не отметились на ниве науки – у них все еще впереди – им-то вообще, получается, нечем гордиться? Так может, будем гордиться все вместе – всеми? На могиле великого Ньютона начертана латинская эпитафия, последние слова которой в переводе звучат так: «Да радуются смертные, что среди них жило такое украшение человеческого рода». То есть радуются не королевство Великобритания и даже не английский народ, а все жители земли! Хотел закончить свой опус на этой примирительной и оптимистической ноте, но вспомнил, что моей целью было рассказать и предостеречь, поэтому все же закончу еще одним примером безобразия и глупости.

В 1950 г. вышла книга, которую можно назвать символом и квинтэссенцией всей этой научно-патриотической свистопляски. «Рассказы о русском первенстве». Сафьяновый переплёт, 422 страницы убористого текста. И все это о том, что русские открыли и изобрели практически все: пар, электричество, радиотехнику, паровые машины и электромоторы, паровоз, пароход, велосипед, самокат, автомобиль, тепловоз, самобеглую коляску Кулибина, самолёт, подводную лодку, все типы кораблей, лампочку просто и лампочку Ильича, все виды оружия – продолжить можете сами. А то немногое, что изобрели иностранцы, они украли у русских. На фронтисписе портреты: Ленин, Сталин, Берия. В самом начале – нечто вроде главной установки, кредо авторов. Его я хочу привести здесь целиком.

В книге рассказывается о наиболее разительных примерах первенства русской науки и техники. Здесь собраны примеры того, как русская научная мысль обгоняла своё время, опережала научную мысль Запада. Книга ставит перед собой цель провести читателя по величественным залам сокровищницы русской науки, познакомить его с бесценными жемчужинами научного творчества, утверждающими первородство русских в изобретениях и открытиях.

Космополитическими измышлениями, лживыми фразами о мировой науке, не знающей географических и национальных границ, международная реакция пыталась и пытается, как дымовой завесой, прикрыть свою воровскую, захватническую политику в науке, своё стремление подчинить науку всего мира интересам доллара, интересам империализма и милитаризма.

Это провокационные измышления. Не может быть науки без родины. Не может быть единой мировой науки, пока в мире существуют два лагеря: лагерь демократии и лагерь империализма.

Надеюсь, что этот текст когда-нибудь ляжет на стол документом обвинения на процессе по осуждению преступлений советской власти.

Ульяна Шереметьева

ПО МОТИВАМ БРАНДЕНБУРГСКОЙ ПОЭЗИИ

КУРИНЫЙ БОГ

Я камешек нашёл на берегу,
осколок вечности, её тысячелетий...
И я его на счастье берегу,
его ваятели – вода, песок и ветер.

Удачи плоский камень невелик,
у каждой стороны своя тональность:
одна светла, другая – тёмный лик,
одна – мечта, другая – лишь реальность...

Одна молчит, другая же – смеётся,
и радость, и страдания его --
Всё в камне том слилось, уж так ведётся,
ведь жизнь не исключает ничего.

Вне тьмы нет света, и всегда он с ней,
и полдень не бывает без теней.

О ВЕТРЕ

Рассыпал волосы твои, да так,
Что кожей гусиною покрылось тело.
Что для меня табу — ему пустяк,
на пляже он средь женщин то и дело

всё вьётся, не пропустит ни одной:
худой ли, полной, старой или юной,
а встретится красавица порой —
целует грудь, скрывается за дюной...

И всё же — не завидую. Страдать
он обречён, увы, навек судьбою,
ведь ни с одной ему не испытать
того, что мне даровано с тобою

ВЕСНЕЕТ

Каштаны дарят клейкий сок,
и набирают ивы силы --
бурлит весенний их исток --
и всё в безумстве хлорофилла!

А солнце — уж который год —
Обмануто на час на целый...
Волна зелёная не ждёт,
Всё ширятся её пределы...

Пустое аистов гнездо
Квартирой снова станет птичьей,
и к Пасхе будет сожжено
зло зимних чар — таков обычай...

И декольте открытей вдруг,
одежды девушек — смелее...
Забудь, мой друг, безумство вьюг,
взгляни вокруг, опять «веснеет»!

СЕМЬЮ СЕМЬ

Ледяная — первая
циничная — вторая

трепетная – третья
горькая – четвёртая
тлеющая – пятая
тёплая – шестая
и тончайшая –
седьмая кожа.

Так разбей ту первую
разорви вторую
успокой же третью
испробуй четвёртую
а сжигая пятую,
спрячься
под шестую...

и всё же
оставь мне
седьмую кожу.

ПОЭЗИЯ ВАСЫЛЯ МАХНО

Перевод с украинского Аркадия Штытеля.

Предисловие Максима Амелина («Новый мир», № 10, 2011 г.)

Василь Махно родился в 1964 году в городе Черткове, окончил Тернопольский педагогический институт, преподавал в одном из Краковских университетов. Автор 8 сборников стихов и 2 книг эссеистики, 2 пьес. Переводчик польской, сербской, немецкой и американской поэзии XX века. Участник международных поэтических фестивалей в Германии, Польше, США и других стран. Его стихи, эссе и драмы переводились на многие языки, в частности на английский, немецкий, иврит, литовский, польский, и многие другие. С 2000 года поэт живет в Нью-Йорке. В переводах на русский стихи и эссе публиковались в журналах «Новый мир», «Новая Юность», «Интерпоэзия».

Стихи Махно поражают разнообразием строфики и метрики, прихотливым рисунком рифм разной степени точности, сложными синтаксическими периодами и вообще своей богатой стиховой фактурой, а эссе – свободой суждений и широтой взглядов и каким-то вдумчиво-трепетным отношением к явлениям мировой литературы и культуры.

Чем больше – осознанно или неосознанно – поэт вбирает в себя поэтических систем и мировоззренческих точек отсчета, тем богаче и глубже становится его собственная поэзия. Истоки оригинальной поэтики Василя Махно видятся не только в непосредственном обращении к поэтам «расстрелянного возрождения», для украинской поэзии сравнимого по значению с нашим Серебряным веком, но и в уверенной ориентации на лучшие достижения европейской и американской поэзии XX века.

Книги стихов Василя Махно не похожи одна на другую. Каждая – новая поэтика, новый взгляд, новое измерение. Особенно заметные перемены и сдвиги произошли именно после его переезда в Штаты. Что при этом роднит его стихи и делает единым, продолженным во времени поэтическим высказыванием – так это общая музыкальная тема -- музыка поэзии, всякий раз неожиданная и смелая.

Поэтический перевод – не соперничество, скорее – сотрудничество в деле донесения мыслей и ощущений иноязычного автора до читателя, привязанного к иной – в данном случае русской – поэтической среде, а

значит, и к существующим в ней традициям и контекстам. Было бы ч т о переводить, а к а к – задача переводчика. В стихах Василя Махно этого ч т о предостаточно, и поэтому переводить его стихи на русский, как, впрочем, наверно, и на любой другой язык, – дело непростое, но благодарное.

Переводы Аркадия Штыпеля, представленные в настоящей подборке, призваны показать различные виды и грани поэтического творчества Василя Махно -- одного из лучших поэтов, пишущих сегодня на украинском языке.

* * *

течет времен воздушная река
лук с лирой – их как женщину рука
ласкает – запирает на три замка

дороги на ночь – шороха одежд
золы – сплетя узлы – усни промеж
или следи из-под прикрытых вежд:

за теми приносящими дары:
сухие стебли – горные миры –
рыбешки плавничок песок икры

припомнишь детства золотой оплот:
незримое тепло паук плетет –
и пчелку липкую которой подметет

пути злой ветер – и время невзначай
как божий странник спички – подбирай
и перстни звякают и остывает чай
вся болтовня про прошлогодний снег
про ключарей ворота и побег
трубу и бычий рог и кто стратег

сей замыкает анабазис зим
промедливая запахом: бензин
власть прожигает воздух – шерсть козы

снега напоминают – сходни драм
разбито войско – корчится от ран
король – их бог – актер что отыграл

растенья сада у залетных флор
расспросят про дороги и простор
про струи воздуха чей молчаливый хор

занес и их язык в словарь хазар
что пахнет морем и песком – и за-
пахи мгновенные как сад

и не уменьшишь этот скудный скарб
творенья мира из картонных карт
прозрачного как темя родника

а сосчитав все спицы в колесе
времен – не раз – по сорок и по семь
свершилось все – и беспредельна сеть

ЖЕНЕ

нам вновь затвердить остается вдвоем
тесемку имен что идут с Рождеством
как старую молвь – с архаической свечкой –
пшеничное спрятать в ладони зерно
все молча – и пить согреваясь вино
зимой заменяющей вечность
вечерняя музыка сонно снует
она за порогом и знак подает:
глядеться в глаза – из тесемки беспечно
тончайшие нитки надергать в слова –
и тепел и сладок наш снег Рождества
– как сахарная овечка

уже засветились ряды фонарей
и нас не проминут трое царей

и в доме всего у нас вдосталь
порывисто дышит свеча над столом
и выключив свет – мы как дети – вдвоем
ищем Господню звезду.

* * *

и ремесло и опыт – как змея –
все умудренней – молоком облиты
дни зимние как хлебы – сыты-крыты
медвяны сны – и речи толчя

всех призовет по имени – но лиц
она не помнит – их смывает время –
и ты меж ними – брошенное семя –
челнами что из прошлого пришли

и в прошлое ушли – бумажным сном –
и словарем реки – и солью моря
тех вызовут кто этой речи вторит
раскинув парус – горбясь над веслом

ибо слова бесследны – меж пропаж
окликнуть – зазевавшихся обозных
сточить крыло орлиное о воздух
и на бумагу бросить карандаш

Светлана Шенбрунн

О, МАРИАННА

Роман-путешествие

(Отрывок из второй части)

И тут на меня вдруг опрокинулась страшная догадка: а может, и того величественного, богатырского леса, в котором мы с папой в Красноуфимске собирали землянику, тех могучих, упирающихся в небо деревьев, которые столько лет были для меня символом всего самого прекрасного на свете, – может и их уже нет? Люди в алчности своей готовы всё погубить. Вполне возможно, – в Красноуфимске имелаась лесопилка, это было мне известно, поскольку заведующим этой лесопилки был наш сосед, вернее, не сосед, а хозяин той комнаты, от которой для нас отгородили пять метров жизненного пространства за печкой. Нам очень повезло – у заведующего лесопилкой не случилось недостатка в дровах, топили круглые сутки, и у нас за печкой всегда было очень тепло. Возможно, это даже спасло нам жизнь – есть было нечего, но мы не мёрзли.

Нужно отдать справедливость советской власти – ни одна эвакуированная семья не осталась на улице, всех как-то распихали: хоть в сарай, хоть в барак, хоть в какое-то общежитие, хоть в качестве подселенцев в комнату к местным. Мы тоже оказались подселенцами, но хозяину вовсе не светило такое положение, чтобы мы путались у него под ногами. Надо полагать, и мои родители не обрадовались перспективе жить при семье с одиннадцатью детьми. Но проблема была решена: хозяин привёл двух рабочих, досок, слава Богу, хватало, отгородили закуток за огромной русской печью, и у нас появились собственные, отдельные пять метров, да ещё и с дверью. Благодаря этой двери я научилась считать до трёх. До двух я уже умела – мне самой было два года. Но дверь была сколочена из трёх досок, и приходилось считать их «одна, две и ещё одна». Сразу вместе три как-то не вмещались в моё двухлетнее сознание.

Из тех же казённых досок соорудили метровой ширины топчан и кро-

шечный столик, за которым папа, пока его не отправили на фронт, сочинял свой очередной роман. Нет, я преувеличиваю: творческий период оказался короче. Мои непутёвые родители, удирая 16-го октября из Москвы, не догадались взять с собой не то что кастрюльку или миску, но даже и ложку. Прибыли в совершенно чужой незнакомый город как к тёще на блины. «Здрасте, а вот и мы!» Но! – писчей бумагой папа не позабыл запастись, захватил непечатую пачку в пятьсот страниц. Очень быстро выяснилось, что это огромное богатство: на фронте у всех были мужья, братья, сыновья, а письмишко написать не на чем – нет ни клочка бумаги. «За один лист давали два яйца», – вспоминал папа. Он отложил написание романа до лучших времён и принялся ходить по окрестным деревням и менять бумагу на еду. Из чего можно заключить, что приуральские крестьяне ещё не были окончательно разорены колхозной системой, у них водились не только картошка и полба, но и курочки-несушки.

Одна, годовалая девочка у хозяев вскоре умерла от воспаления лёгких. Наверно, матери было жалко её, но она утешала себя, говорила: «Ничего, ещё рожу».

Из десяти оставшихся ребятишек некоторые оказались почти моими ровесниками, мы играли во дворе, а иногда и у них в комнате, где стояла большая, блестящая, нагруженная горкой белоснежных подушек никелированная кровать. Возможно, на ней спали родители. Все дети спали на полу, накрываясь своими кожушками.

Однажды мы не играли, а просто сидели и разговаривали с Санькой, который был на два года старше меня. Мне к тому времени уже исполнилось три года. В какой-то момент я заметила, что дети укладываются спать, и поняла, что мне пора уходить. Но Санька не хотел, чтобы я ушла, и принялся пугать меня:

– Тебе нельзя выходить за дверь.

– Почему? – удивилась я.

– Там немцы.

– Ну и что?

Вообще-то я не особенно поверила ему: когда я пришла к ним, никаких немцев в коридоре не было.

– Они тебя убьют, – сказал он.

Я знала, что «убьют» – это что-то нехорошее, страшное. И тут в комнату вошла одна из старших сестёр Саньки.

– Почему они её не убили? – спросила я.

– Она не еврейка, – нашёлся Санька. – А ты еврейка. Они только евреев убивают.

Я знала, что такое немцы – немцы наши враги, из-за них война, но что такое евреи не знала.

– Вот ты высунешься, и они тебя сразу убьют.

Я решила поостеречься и подождать, пока кто-нибудь откроет дверь. Тогда можно будет посмотреть, есть там немцы или нет.

Коридорчик, который отделял их дверь от нашей, был не длиннее трёх метров. Он тоже был отрезан от их комнаты – ради того, чтобы мы могли входить в свою. Эта перегородка оказалась очень удачной: огромная чугунная плита, примыкавшая к печке, частично оказалась в коридорчике, и мама могла разогреть на ней котелок перловки, которую удавалось выстоять в очереди в Деревообделочном техникуме. Это было единственное высшее учебное заведение в Красноуфимске, и в нём студентов по утрам кормили перловой кашей. Почему-то студенты не всегда съедали всю кашу, и тогда остатки продавали эвакуированным. Встать в очередь нужно было не позднее шести, а двери столовой открывались в восемь. Простоять на сорокаградусном морозе два часа было невозможно, поэтому папа и мама менялись – стояли в очереди попеременно. Получив свой котелок, они бежали домой (вообще-то бежать в такой мороз тоже невозможно, перехватывает дыхание). По дороге перловка застывала и превращалась в ледышку, но на горячей плите она оттаивала.

Потом папу отправили на фронт. До этого он был освобождён от воинской повинности из-за врождённого порока сердца, однако в 42-м уже брали всех, даже инвалидов. Забрали его весной, когда было тепло, и мама вполне могла сама стоять в очереди хоть два, хоть три часа.

А в тот вечер (папа уже был на фронте) мы с Санькой сидели и сидели у них в комнате, и как назло, никто не приходил и не открывал дверь, а я боялась высунуть нос в коридорчик. Мама в это время в истерике металась по всему дому, бегала даже во двор и на второй этаж (дом до Революции принадлежал какому-то купцу), но заглянуть к соседям не догадывалась. Я очень хотела спать и сказала Саньке:

– Давай выйдем вместе. Тебя немцы всё равно не убьют.

Он обрадовался моему предложению, наверно, ему и самому хотелось спать. Мы открыли дверь, и никаких немцев там не было.

Лес, безусловно, был весьма соблазнителен для лесопилки. Начинался он сразу же за городом, прямо за последним домом. Сказочный, волшебный лес... Неужели его нет? Не нужно думать об этом, я всё равно никогда не поеду в Красноуфимск и не узнаю правды. Но помнить его буду всегда... Может быть, и он будет меня помнить? Он ведь живое существо, ему должно найтись место в раю...

Зелёные Арлекины

На следующее утро Марианна прибыла ко мне в гостиницу в тот же час, что и накануне, но в очень странном виде: в зелёно-красном клетчатом костюме Арлекина, и волосы под шапочкой с двумя помпонами тоже оказались зелёного цвета. Цирк-шапито.

– Ты покрасилась? – спросила я в некотором недоумении.

– Да нет, что ты! – засмеялась она. – Это парик. Они выследили меня, и я решила натянуть им нос: купила пять таких костюмов, в четыре нарядила уличных мальчишек, а пятый надела сама. Теперь пускай попрыгают.

– Кто тебя выследил?

– Папарацци – а то, кто же?

– А почему тебя преследуют папарацци?

– То есть как – почему? Ты что – не знаешь, кто я?

– Вообще-то, нет.

Действительно, Иннокентий мог бы снабдить меня хоть какой-то информацией, с его стороны это даже нечестно – поставить меня в такое дурацкое положение.

– Вот так история! – возликовала она. – Наконец-то я встретила человека, который не знает, кто я! Ты что, не смотришь телевизор?

– Смотрю, но очень редко.

Неловко как-то было признаться, что у меня и нет телевизора. Холодильник, стиральную машину и газовую плиту я купила, а на телевизор пока не набрала денег.

– Я звезда телеэкрана, – похвасталась она. – Героиня самого популярного в Италии сериала. Неужели ты ни разу меня не видела?

– Я не могла тебя видеть – в СССР итальянских сериалов не демонстрируют, в Израиле тоже. У нас даже цветного телевидения нет.

– Не может быть!

– Ох, Марианна, ты просто наивная блондинка.

– Я не блондинка, я шатенка. Иногда, правда, снимаюсь в роли блондинки.

Меня не так уж сильно интересовало, в каких ролях она снимается, к мафии это, слава Богу, не имеет отношения.

Пламенеющая готика

– Поедем осматривать собор, – объявила Марианна, аккуратно сложила костюм Арлекина, вложила в него зелёный парик и сказала: – Оставь себе на память.

– Спасибо, – сказала я.

Что ж, можно нарядиться на Пурим.

Своими – пусть и невеликими – познаниями в области архитектуры я обязана маме, она была не только страстной любительницей письменной и устной истории, но и неутомимой посетительницей всех действовавших и не действовавших храмов, старинных крепостей, монастырей, средневековых ратуш, темниц, гробниц и ведущих невесть куда таинственных подземных ходов. Я только диву давалась, откуда у неё вдруг брались силы – начисто забыв про то, что она тяжело больной человек, птицей взмывала на вершины высочайших средневековых башен. А ступени в этих башнях, должна я вам напомнить, полуметровой толщи, не так-то просто задираешь ногу, преодолевая их, и перил не предусмотрено.

Любознательность её в этом плане была столь неукротима, что даже не дождавшись конца войны, она возобновила свои познавательные экскурсии. Не была обойдена вниманием и московская мечеть, которая удивила меня своим плоским куполом, не похожим на купола церквей. Но внутрь, я думаю, нас не пустили, поэтому я ничего и не запомнила.

Уже после маминой смерти, в начале шестидесятых, я узнала от любимой моей подруги Розы Хуснутдиновой, что в Москве существовала ещё старая мечеть, последний имам которой Абдулла Шамсутдинов в 36-м году был арестован и расстрелян, а мечеть закрыта и возвышавшийся над ней минарет разрушен. Не исключено, что маме эти факты были известны, но мне она их сообщать не стала.

Вообще, её осведомленность в архитектурных стилях и направлениях была достаточно поверхностной и сумбурной, но кое-что она всё-таки знала и с удовольствием делилась своей учёностью со всеми, кто готов был её слушать. Благодаря ей я могу отличить барельеф от горельефа и пилястру от пилона. Не то чтобы я спрашивала, а она отвечала – нет, она сама могла замучить вопросами любого экскурсовода, вернее, экскурсоводшу – все были женщины, мужчины не попадались. Мне оставалось лишь держать ушки на макушке. Не поручусь, что всё услышанное соответствовало истине, припёртая к стене экскурсоводша могла и слукавить.

В маминой несравненной Вильне – вообще-то мама появилась на свет в Москве, но своей родиной считала Вильну. Мой дедушка Валериан Яковлевич в юности учился в духовной семинарии, однако служению православной церкви предпочёл военную карьеру. Не знаю, до каких чинов он дослужился, но, когда маме исполнилось два года, то есть в 1904 году, вышел в отставку и вернулся в родные края. В Вильне жили его отец и брат, и здесь он отдался наконец своему истинному призванию – начал

преподавать русский язык во Второй виленской мужской гимназии. Даже составил собственный учебник. Я убедилась в достоверности этих фактов, когда познакомилась с одним из его учеников – тестем известного литовского писателя Витаутаса Сириоса Гиры. Надо сказать, никаких тёплых слов, какими обычно ученики отзываются о покойных учителях, я не услышала. Предполагаю, что дед был непреклонным монархистом и русофилом, что оскорбляло чувства гордого поляка. Но неважно.

Мама заставила меня облазить в обожаемом, боготворимом ею городе каждый уголок, и выяснилось, что даже почти полностью разбитое и уничтоженное еврейское гетто имело свои исторические и архитектурные достоинства. Что уж говорить об Остра Бrame и костёле Петра и Павла! Посетили мы, конечно, и Пречистенский кафедральный собор, где её дед, а мой прадед, состоял архиереем. Внучка видела его лишь раз в жизни, в пятилетнем возрасте. Отец нёс её на плечах во время пасхального крестного хода, а архиерей благословлял народ, стоя на ступенях храма. И Валериан Яковлевич сказал дочери: «Посмотри и запомни: это мой отец, твой дед». Мама запомнила, особенно торжественное одеяние старика. В чёрное духовенство он перешёл после смерти жены и с сыновьями с тех пор общался мало. Сыновья, со своей стороны, тоже не слишком усердно посещали храм. Зато мама часто гостила у дяди, отца своего двоюродного брата Михаила, погибшего в деникинских войсках.

Я в свой срок тоже по меньшей мере три раза восседала на отцовских плечах, но не во время крестных ходов, а на первомайских демонстрациях на Красной площади.

В порыве патриотических чувств мама воскликнула, что церковь Святой Анны одна из красивейших, если вообще не самая красивая в мире. И конечно же, пересказала легенду о том, как Наполеон сокрушался, что невозможно перенести её в Париж. «Перенести, подумала я, сложно, но, если так уж понравилась, мог бы выстроить в Париже копию». Очевидно, из-за постигших его военных неудач до этой блажи дело не дошло.

Теперь же, взглянув на восхитительный Миланский собор, я вспомнила Вильнюс (Вильну) и Святую Анну. Конечно, разница огромная, Миланский собор намного больше и возносится в небеса, как белый голубок, как дивный невесомый призрак. На фоне всего ужасного есть на этом свете и сказочно прекрасное, такое, от чего захватывает дух. Святая Анна миниатюрна, но при этом имеет солидные тёмно-красные стены. Она тоже – вся

устремление ввысь, в небо, но при этом твёрдо стоит на земле и покидать её не собирается. Наполеон не зря уразумел, что унести с собой в Париж нельзя. Зато оба храма одного стиля: пламенеющая готика.

Запомнить этот термин меня заставило одно пустячное, но всё-таки достаточно неприятное происшествие в Дубултах.

Рижский залив в этом месте удивительно мелок, вода прогревается солнцем, и полоскаться в ней – сплошное наслаждение. А песок так перетёрт волнами и так послушен, что ничего не стоит вылепить из него, мокрого и текучего, хоть крепость, хоть дворец, возвести редуты и башни с остренькими шпилями. Именно этим я и занималась большую часть времени. Другие девочки, мои подружки, тоже любили рыть заводи, прокладывать каналы, наращивать форты и бастионы, но я особенно увлекалась этим зодчеством.

Отдыхающие – не только из нашего дома творчества, но и прочие, флагируя по берегу, частенько задерживались возле наших фортификаций и восхищались мощью крепостных стен и высотой башен. Многие говорили: чудесная готика! А один мужчина, как видно, лучше других разбиравшийся в архитектуре, сказал: пламенеющая готика. Почему «пламенная», я не могла догадаться, но выражение мне понравилось.

В тот день за моей работой, как обычно, наблюдала горстка зрителей, и вдруг одна женщина, судя по акценту, латышка, сказала:

– Девочка, ты не имеешь права быть на пляже в таком виде! Это бесстыдство! Иди оденься.

Я поняла: её возмущает, что я сижу в одних трусах – на всех моих ровесницах купальные костюмы, а я в обтрёпанных линялых трусиках. Но что я могла поделать? Мама наотрез отказывалась приобрести для меня купальный костюм. Да я и не настаивала, знала, что настаивать бесполезно. Главная беда заключалась даже не в этом, а в том, что мама экономила на резинках – когда резинка в её трико растягивалась до такой степени, что теряла всякую эластичность, она передавала её мне. Проклятые трусы, и без того отвратительные, вечно норовили сползти с моих юных бёдер, приходилось завязывать превратившуюся в верёвочку резинку узлом. Выглядела эта завязка ужасно, как будто белый глист свисал у меня с пупка, и все, кому не лень, могли это видеть. И ростом, как на грех, я удалась – мозолила глаза прохожим.

– Немедленно иди оденься! Иди оденься! – повторяла женщина сурово.

К ней присоединились и другие голоса.

Я молчала.

– Где твоя мама?

Я молчала. Вокруг собирался досужий народ.

– Я вызываю полицию! – пригрозила латышка.

– Правильно, – поддержали её земляки. – Совсем обнаглели: по городу ходят в пижамах, на пляже – голые.

– Отведи меня к твоей матери! – требовала женщина.

Я молчала.

– Идёмте со мной, я покажу вам её мать, – вызвалась вдруг жена одного из писателей.

И вся компания двинулась к ближайшей дюне, на склоне которой возлежала мама.

– Вы мать этой девушки? – грозно спросила латышка, указывая на меня.

– Что? – воскликнула мама, приподымаясь на подстилке. – Что такое? Что она натворила?

– Она не может быть на пляже в столь непристойном виде! Здесь не публичный дом!

– В каком таком виде? – заскулила мама. – Какой публичный дом? При чём тут публичный дом? Это ребёнок! Ребёнок должен загорать!

Между прочим, ребёнок уже читал и Куприна, и Мопассана и знал, что такое публичный дом.

– Это не ребёнок, это вполне зрелая девушка с вполне развитой грудью, – утверждали наперебой латышки. – Мужчины останавливаются смотреть на неё!

Останавливаются смотреть... Может, поэтому он так сказал – «пламенеющая готика», подумала я?

Наверно от волнения главная латышка стала хуже говорить по-русски:

– Я предвещаю вам, что мы пресечём это безобразие! Это безобразие не будет здесь, в Латвии. У себя в Москве ходите голые!

Я удивилась – откуда она знает, что мы из Москвы?

– Мы вызовем полицию, мы знаем сообщить в ваши органы! – наседали поборницы нравственности.

– Вы хамки! – кричала мама. – Я сама вызову милицию! Вы не будете указывать мне, как мне одевать моего ребёнка!

– Если вы хотите растить из своей дочери проститутку, пожалуйста. Но не здесь, не в Латвии! Здесь в Латвии живут люди, которые знают, что такое культурные приличия!

За спинами двух боевитых дам выстроилась уже целая фаланга их соотечественников, взволнованно лопатавших что-то на своём латышском языке. Мама нашла поддержку только в лице жены писателя Кочетова.

– Нет, вы поглядите – как спросишь что-нибудь у них, так «нэ понимай!»! «Моя твоя нэ понимай!» И вдруг, нате вам, понимай! Всё понимай!..

Остальные обитатели дома творчества наблюдали за развитием сюжета молча.

И тут со своего полотенца поднялся папа. Как и большинство мужчин, он загорал в обычных семейных трусах. Это было в порядке вещей и никого не задевало. Специальные пляжные плавки ещё не пробили себе дорогу на прилавки советских галантерейных магазинов.

Папина надежда на то, что стычка двух народов утихнет как-нибудь сама собой, не оправдалась. Дело принимало нежелательный и скверный оборот. Вот-вот вспыхнет недопустимый межнациональный конфликт, и полетят телеграммы в московский Союз Писателей.

– Нинусенька, – сказал папа, – если ты сию минуту не прекратишь эти гнуснейшие провокации, я тотчас поеду в Ригу и куплю билеты для себя и для Светланы. И мы завтра же покинем дом творчества. Ты уразумела, что я сказал?

– Негодяй! Какие провокации? – зарыдала мама. – Вместо того, чтобы защитить меня от этой сумасшедшей бабы, он мне же угрожает!

– Я тотчас еду в Ригу! – повторил папа, натягивая брюки.

В Ригу он не поехал, но пошёл в местный магазинчик и купил мне купальный костюм – точно такой же, как у всех девочек. Других в продаже не было.

Я догадывалась, почему маме так хочется, чтоб я как можно дольше оставалась ребёночком в противных застиранных трусиках – если у неё маленький ребёнок, то значит, она ещё молодая. А если дочь «вполне созревшая девушка», да ещё «мужчины смотрят», то, извините, что же с ней? Мужчины должны смотреть на неё, а не на меня. Мне было даже немножечко жалко её.

Сегодня всё это выглядит смешно – сегодня вполне созревшие девицы и даже не слишком юные дамы загорают топлесс. Вполне возможно, что и в тех же Дубултах.

Сусальное золото

– Заедем в павильон, – сказала Марианна, когда с осмотром Собора был покончено.

– Какой павильон? – поинтересовалась я.

– Наш съёмочный павильон. Там теперь никого нет, пусто – вакансии, но мне желательно туда заглянуть.

Павильон оказался километрах в пятнадцати от города и действительно был безлюден, если не считать одинокого юноши Саши, чрезвычайно обрадовавшегося нашему появлению.

– Познакомься, наш звукооператор, – представила его Марианна.

Я огляделась. Обширный серый барак с низким потолком и без окон. Когда-то, во времена Сценарных курсов, мы проходили производственную практику на Мосфильме, имеющем столько высокотехнологичных павильонов, подсобных цехов и декорационных площадок, что, надо полагать, и Голливуд уже ничем меня не поразил бы. А здесь была не то что бедная, но просто нищенская студия, вдоль стен несколько макетов шикарных вилл, и всех декораций – десяток интерьеров спален, рабочих кабинетов и лобби с плавно изогнутыми широкими лестницами. И всё аляповатое, вычурное, на редкость вульгарное и пошлое. После прекрасного Собора – и такая мерзкая безвкусица.

Узенький диванчик в стиле рококо. Стражи деликатно отодвинулись в противоположный угол помещения. Заметив моё смущение, Марианна, словно извиняясь, пояснила:

– Но бывают и съёмки на натуре: у бассейнов, на морском берегу или в городских парках. Автомобильные погони и столкновения для нас снимают другие компании, специализирующиеся на каскадёрских сценах. Моменты старта и финиша выполняются отдельно – так дешевле. Джиованни умеет делать всё внушительно и обстоятельно, но быстро и недорого. Маэстро! Ни один эпизод не требует для своего производства больше двух недель.

Я промолчала и только вздохнула: честь и хвала синьору Джиованни Джентиле...

Звукооператор Саша взволнованно топтался возле нас, присел на краешек козетки, обитой розовым линиялым плюшем, но тут же шустро переместился на пол и нежно обхватил обеими руками ноги Марианны.

– О, эти ножки! – запричитал он упоенно. – Царица, богиня, королева! Как я счастлив! Марианна, возле тебя я расцветаю.

– Дурачок! – сказала королева и потрепала шевелюру обожателя.

Он припал щекой к её колену.

– Внук тех первых эмигрантов, – пояснила Марианна. – Русский знает – не очень хорошо, но знает. Дедушка из княжеского рода.

Мне всё равно кто из какого рода, я на этом празднике случайный гость, однако ж... Надеюсь, нас не запечатлевают на плёнку? «Богиня, королева...» Как отнесётся к этому маэстро Джентиле? И при чём тут я?

– Ах, выйдем на минутку, – позвала Марианна, дотрагиваясь до моей руки. – И обратившись к Саше, предложила: – А ты пока что можешь сочинить любовный стих – чем докажешь свои чувства ко мне.

Для начала мы попали в узкий коридорчик, потом в гримёрную, из неё ещё в какое-то мрачное, еле освещённое помещение, и очутились на-

конец перед длинной обшарпанной стеной с узким оконцем почти под самым потолком. Марианна бодро подтащила к стене дощатый крепкий стол и стул с высокой спинкой, вскарабкалась на стол и предложила мне следовать за ней.

– Не бойся, – успокоила она, – с той стороны гораздо ниже.

Со стула, водружённого на стол, мы задом, задом протиснулись в окошко и выползли наружу. Две озорные школьницы. Смешно. Видел бы меня сейчас Иннокентий! Жизнь увлекательна и непредсказуема.

– А как же Саша? – спросила я на всякий случай.

– Саша? – фыркнула она. – Да ничего ему не сделается, пусть сидит и сочиняет свою поэму. Теперь свобода! Свобода! На этих баррикадах мы обрели свободу! Двум дуракам придётся обождать – без нас они не посмеют явиться к Джiovанни, как миленькие будут ждать и уповать.

– Ну, ты авантюристка... – сказала я.

– И ещё какая!

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

– Я чувствую себя так, будто мне снова семнадцать лет, – сказала я.

– Пятнадцать! – уточнила Марианна.

– Так хорошо, так празднично, ну, как будто мы едем на Мёртвое море.

– На Мёртвое море? Какое страшное название...

– Глупости. Нет ничего замечательней, чем спускаться на машине к Мёртвому морю.

– У тебя есть машина?

– Есть. Новенький «Форд». Набрала ссуд и купила. Новым репатриантам без налога. Мне всегда, всю жизнь снилось, что я веду машину.

– А мне как-то не приходится сидеть за рулём, – призналась Марианна, – мои стражи всегда делают это сами. Да, честно говоря, я и не стремлюсь. А почему именно на Мёртвое море?

– Потому что на свете нет и быть не может ничего прекрасней и удивительней этой дороги. Вот Италия роскошная страна, но она здешняя, земная, а Иудейская пустыня – потусторонний край. Сотканный из древних легенд и волшебства. Кумранские пещеры – знаешь?

– Что-то припоминаю...

– Рукописи пролежали в глиняных кувшинах две тысячи лет и выглядят, можно сказать, как новенькие. Чернила не поблекли. И расшифровывать не надо – мы сегодня можем их читать. Прикосновение к вечности. Отблеск божественного сияния. Что такое истинное счастье? Истинное счастье – ехать в хорошей компании на Мёртвое море. Оранжевый мираж, и ты часть его. От Иерусалима близко, в особенности от того района, где я живу. Двадцать минут, и ты в царстве блаженства. С одной стороны море,

Заиордания, с другой – отвесные скалы, лунные пейзажи. Фантастика! Вся Вселенная – весёлый рыжий апельсин.

– Ой, да ты поэт!

– Я прозаик, пишу романы.

– Хотелось бы почитать.

– При случае. Приедешь в Израиль, дам почитать. Книг, правда, нет, только рукописи. Пока что никто не соблазнился изданием моих сочинений. Про Моссаду слышала?

– Нет. Да, надо, надо съездить к вам...

– Приезжай, поедем на Моссаду, в Эйн-Геди. Пообщаешься с царём Давидом и Бар-Кохбой. Знаешь, что я подумала? В Израиле ничто не исчезает, и никто не исчезает – все тут как тут: и пророк Самуил, и Давид, и Соломон, и прокуратор Понтий Пилат, и Ирод собственной персоной – все соседствуют. Стоит только перелистнуть страничку – и пожалуйста, любой на выбор...

Сполохи той войны

Продолжая болтать и радоваться прекрасной погоде и собственной смелости, мы вышли на дорогу и остановили случайную машину.

– Марианна? – ошалел водитель. – Уно? Ти пиаце?

Вначале я подумала, что тут какой-то сговор, но вскоре поняла, что нет – она сказала правду: в Италии её действительно знает каждая собака. Понять их дальнейший разговор я не могла, но видела, что парень не может прийти в себя от нечаянно выпавшего ему счастья – в его машине, рядом с ним сидит звезда экрана. И на пальце у неё блестит всамделишный роскошный бриллиант. Ведь рассказать, так не поверят.

Сначала мы въехали в город – машина катила вдоль домов, площадей, памятников и брызжащих серебряными струями фонтанов, потом выехали за городскую черту и направились к подымающимся на горизонте холмам.

– Тут есть чудесное местечко, – объявила Марианна и велела водителю свернуть на узенькую, аккуратно заасфальтированную дорожку, выющуюся среди виноградников. – Я уверена, тебе понравится.

Целью нашего путешествия оказался сельский ресторанчик: одноэтажный домик под остроконечной черепичной крышей и перед ним несколько столиков в тени широко раскинувших кроны громадных деревьев неизвестной мне породы.

– Я люблю тут бывать, – сказала Марианна и взглянула на меня, словно ожидая положенной по сценарию реплики. Я не знала, что ей ответить и

чувствовала себя жутко глупо. – Вечером, на закате отсюда видно море, – продолжала она. – Красиво. правда?

Я согласилась.

На прощанье она послала нашему водителю воздушный поцелуй, он расцвёл от такого внимания, помахал нам рукой, но продолжал стоять, не в силах сдвинуться с места. Ему, конечно, хотелось, чтобы поездка эта продолжалась вечно. Но вечною счастья не бывает.

– Джиованни родом отсюда, его мать и сестра до сих пор живут тут, – сообщила Марианна, указывая на город, серым продолговатым пятном покрывающий дно зеленой долины. – Я познакомлю тебя с одним очень интересным человеком, – пообещала она, – он русский из югославских партизан.

Я слышала, конечно, о югославских партизанах и даже видела какие-то фильмы про них, но не догадывалась, какой размах приняло движение. Оказывается, не только югославы, но и тысячи советских граждан, в том числе красноармейцев, вырвавшихся из немецкого окружения, примкнули к этой народной армии. В конце войны СССР оказывал ей значительную помощь – это понятно: Сталин рассчитывал, что Югославия станет его надёжным союзником и поможет похоронить притязания западных держав на Балканы.

Про Балканы я знала, что это вечная пороховая бочка Европы, а также, что из-за такого пустяка, как убийство эрцгерцога Фердинанда, вспыхнула Первая мировая война, унесшая миллионы молодых жизней и ликвидировавшая на карте мира четыре империи: Российскую, Австро-Венгерскую, Османскую и Германскую. Впрочем, обо всём этом в нашей школьной программе говорилось немного, как-то вскользь, даже меньше, чем об «испанке» – убийственной эпидемии гриппа, признанной также следствием войны.

Югославский партизан оказался внушительным мужчиной, совсем ещё не старым, моя предводительница назвала его Николаем.

– Он герой! Он всё прошёл: плен, немецкий лагерь, побег, опять немецкий лагерь, в сорок третьем наконец сумел бежать успешно – благодаря другу сербу, который знал каждую тропу в горах. В течение двух лет сражались. Трижды ранен, но, как видишь, выжил.

– Да брось ты, – отмахнулся Николай. – Смущаешь...

Я впечатлилась: всамделишный отважный партизан. Можно сказать, живой Медведев.

Один за всех, и все за одного

Медведев скончался рано, в пятьдесят пять лет, но успел, однако, совершить ещё один незаурядный подвиг: спасти от подлой, безжалостной расправы целую группу боевых товарищей. Кузнецова не усторожил, а этих вызволил. И не от немцев, от своих.

Дело было так: в пятьдесят третьем, через восемь лет после победы, на Украине вспыхнули гонения на членов винницкого подполья. В годы немецкой оккупации в городе действовало несколько групп подпольщиков, да и в окрестных лесах возникли партизанские отряды. Винница оказалась важным стратегическим пунктом, поскольку здесь была размещена ставка Гитлера «Вервольф». Но люди, проливавшие кровь и отдававшие свои жизни в борьбе с врагом, вдруг сделались неудобны местным органам НКВД. По Виннице и Киеву прокатилась волна арестов. Мерзавцы сводили счёты с героями. Остававшиеся на воле, ища спасения, кинулись в Москву и нашли убежище в доме у Медведева.

Герой Советского Союза, кавалер четырех орденов Ленина Дмитрий Николаевич Медведев проявил поистине беспримерное бесстрашие, беспрецедентное, небывалое гражданское мужество, задействовал все свои связи и сумел многих выручить из неминуемой злой беды. Не одного близкого человека, а многих соратников. В его квартире люди неделями и месяцами спали вповалку на полу, ожидая решения своей участи.

А жил он не один – с ним жена и малолетний сын, свидетель происходившего. Дети – самые надёжные свидетели, они ничего не забывают и не считают нужным лгать. Мальчик удивлялся:

– Мама, а почему они живут у нас?

– Так надо, сыночек, так надо... – отвечала верная подруга Дмитрия Николаевича.

Понятно, что и в Москве далеко не все готовы были оправдать, а уж тем более поддержать усилия непростого заступника. Но он не сдался и вышел победителем. За что, конечно, был наказан: в 48 лет отправили в отставку. По состоянию здоровья – кажется, так. Система поспешила избавиться от такого несознательного и неудобного типа. И прямо скажем, дёшево отделался – ведь в своей борьбе пошёл на всё, обратился за помощью к самому Лаврентий Палычу, вскоре оказавшемуся японо-британским шпионом, а также уличённому в иных ужасных преступлениях – разумеется, не имеющих никакого отношения к реальным.

В те дни заступиться за обречённых мало кто решался. Да и помогало это в редчайших случаях. Муж Лидии Чуковской, известный физик-теоретик Матвей Петрович Бронштейн, был арестован в августе 1937 года. Тесть

Бронштейна, любимейший писатель всей российской детворы, Корней Иванович Чуковский обратился с личным письмом к Сталину, просил его ознакомиться с делом арестованного. К письму были приложены научная характеристика Бронштейна, составленная знаменитыми физиками Леонидом Мандельштамом, Сергеем Вавиловым, Игорем Таммом, а также их общее обращение к вождю.

Самодержец может казнить и миловать. Товарищ Сталин предпочитал казнить, миловать он редко соглашался. Обращения не действовали, вершитель человеческих судеб поставил собственноручную подпись под расстрельным приговором – не усмотрел в существовании Бронштейна реальной пользы для себя. Талантливейший учёный был ликвидирован в возрасте тридцати одного года, и вместе с ним была ликвидирована целая отрасль отечественной науки.

Корней Иванович в отчаянии воскликнул: «Если б вся наша цивилизация погибла – Бронштейн один собственными силами мог бы восстановить энциклопедию от А до Я». Ненужными оказались эти заумные энциклопедии, видимо никоим образом не могли они содействовать воплощению главной мечты кремлёвского горца – мечты о мировом господстве.

И льётся чистая и тёплая лазурь

Хрустальный день... Полуденная тишина. Широкий стол, две деревянные лавки. Кроны деревьев – роскошный естественный шатёр. Как только я уселась, Николай без лишних слов пристроился рядом.

О своих подвигах, а тем более о выпавших на его долю страданиях наш партизан не склонен был распространяться. Так, как бы между прочим, припомнил несколько случайных эпизодов. О том, почему не пожелал по окончании войны вернуться в Россию, вообще не упомянул. Все его мысли были заняты женой.

– Представляешь? – Придвинулся ко мне и без долгих размышлений обхватил мои плечи своею богатырскою рукой, словно записал в друзья. – Эта старая мартышка хранит верность Компартии Тито и лично товарищу Сталину. Ты видела такую идиотку? Жизнь прожила – ума не нажила.

Что ж, сумасшедших много, это правда. Нина Константиновна, наша преподавательница сначала ботаники, а потом зоологии, оглушенная, буквально убитая откровениями 20-го съезда партии, отказывалась верить Хрущёву и кипела негодованием при одном упоминании «закрытого заседания». Вообще-то, непонятно, каким образом прозвучавшая на этом «закрытом заседании» критика в адрес Сталина сделалась столь широко

известна общественности. Вся страна была потрясена хрущевскими разоблачениями, но некоторые, как говорится, были «потрясены более». И к этим некоторым принадлежала наша Нина Константиновна, на собственной шкуре испытавшая всю меру сумасбродства палача.

Отец её был расстрелян как враг народа, мать в ужасе покончила с собой, но спустя два года семнадцатилетняя Нина Константиновна добровольцем ушла на фронт, чтобы ценой своей жизни доказать, что её отец был честным коммунистом, оклеветанным негодьями и завистниками. «Вот этими ногами я прошла от Москвы до Берлина! – восклицала Нина Константиновна, указывая на свои ноги в неизменных солдатских сапогах. – «Сталин был для нас всем! С именем Сталина мы шли в бой! С горящими щитами шли на танки!»

Мы, десятиклассницы, молчали – нам не довелось сражаться за Родину, но было в этом что-то странное: почему с горящими щитами? Неужели не нашлось ничего посерьёзнее горящих щитов? Психическая атака? Но ведь она сама рассказывала нам, что командовала танковым взводом, что в подчинении у нее были три танка и двенадцать человек экипажей.

Нине Константиновне посчастливилось пройти до конца весь путь от Москвы до Берлина, не погибнув и даже не получив серьезных ранений. Редкостная удача. Правда, с фронта она привезла с собой тяжело контуженного мужа, инвалида первой группы. Но всё равно, другие учительницы завидовали ей – собственный мужик, у них не было и такого. Товарищ Сталин оставался её кумиром, она была уверена, что родители погибли только потому, что дядя, московский академик, не пришёл на помощь, струсил и не попытался доказать, что брат оклеветан, а на самом деле ни в чём не виноват. А если бы не сдрейфил, подсуетился, пробился куда надо, всё сложилось бы иначе. Предатель и подлец, даже не подумал вступить за родного брата!

Людям хочется во что-то верить, на что-то опереться. Царь-батюшка хороший, бояре плохие...

Официант поставил перед нами соблазнительно пузатый кувшин, красивые высокие бокалы и фрукты на большом плоском блюде.

– Между прочим, – сказала я, – не так давно скончался Мао. Жизнь не стоит на месте, сдохнут и другие.

Ни мой рассказ про Нину Константиновну, ни упоминание Мао несколько не утешили Николая, он продолжал хулить «старую дурёху» и между делом подливал себе вина из украшавшего наш стол кувшина. Домашнее вино. Я плохо разбираюсь в винах, но приятное – терпкое и душистое.

– Вот так, была подруга боевая, любовь до гроба, а оказалось – только до развилка... Вместе ели, вместе пили – вышли врозь... Ведь одной мечтой дышали. Я ранен был, она меня из-под обстрела вынесла... Девчонка, откуда сил хватило?

Марианна сочувственно выслушивала его и потихоньку вздыхала, знакомство с ним ей явно льстило.

Я вдруг вспомнила, что и у меня есть кое-что про Тито.

Историческая справка

Мы с мамой спускаемся по лестнице. Мне девять лет. Лестница-чудесница. Нет, не эскалатор, как в метро, обычная лестница – три пролёта, девять серых каменных ступенек в первом, шесть во втором и девять в третьем. Все ребята в нашем подъезде умеют проскакивать через второй пролёт, не коснувшись ни одной ступеньки, – разбегаются на первом, хватаются одной рукой, левой, за перила и птицей пролетают через второй. А потом, опять ухватившись за перила, приземляются на третий. Я ужасная трусиха, неумеха-нескладёха, но однажды я решилась, и оказалось, что я тоже так могу. Восхитительный полёт! Ноги в воздухе, и ты летишь... Поскольку наш этаж шестой, летишь таким манером до первого пять раз подряд.

Конечно, с мамой приходится идти степенно, чинно и неторопливо – чистое мучение. Вообще-то, в подъезде есть лифт, но на лифте разрешают только подниматься, вниз его вызывает лифтьёрша тётя Дуся, он должен ехать вниз пустым.

Мы спускаемся и видим, что на площадке между нашим этажом и пятым, возле окошка, стоят двое. Стоят себе и курят. На нас не смотрят. Мама замирает на втором пролёте.

– Простите, вы к кому? Вы кого-нибудь ждете?

– Ждем! – откликается один – не сразу – и снова отворачивается к окну.

Но мама не собирается так быстро оставлять их в покое.

– Кого же, если не секрет?

– Тетю Нюру!

– Какую тетю Нюру? Вы имеете в виду Анну Степановну? Разве она не дома? Странно... Обычно она в это время бывает дома... Вы уверены? Вы как следует звонили? Может, она просто не слышала? Если в ванной была или на балконе, могла и не слышать. Дайте-ка я еще разок позвоню...

– Спасибо, не беспокойтесь, мы сами, – говорит мужчина.

– Нет, что же тут стоять? Жалко времени... Да и ноги, как-никак, не казенные.

– Нету ее, нету! Только что проверяли, – уверяет мужчина.

– Да? А может, все-таки постучать?... – сомневается мама. – Звонок у них довольно слабенький, не всегда слышно...

– Вы не беспокойтесь, пожалуйста, мы уж сами! – широко улыбается другой и даже приподымает перед мамой шапку. – Спасибо вам, мы сами... Ничего, мы не торопимся...

– Ну, смотрите... Воля ваша... Я только подумала...

– Как, вы все еще здесь?! – изумляется мама, когда мы возвращаемся. Мы поднялись на лифте, но она нарочно не заходила в квартиру, ждала, пока лифт спустится и будет видно, что творится на площадке перед окном. – Неужели её до сих пор нет?

– Нету, нет, – бурчит один, бросает папироску на пол и затаптывает ногой.

– Ну, это уже что-то невероятное! Чтобы она столько часов отсутствовала? Как-то не верится... Даже если вышла в магазин или в поликлинику, и то давно бы вернулась... Не представляю... Может, что-то случилось? Если только уехала в Тверь, невестку навестить? Но тогда и ждать бесполезно! И потом, она бы непременно предупредила соседей. Вы кто ей, собственно, будете?

– Племянники!

Оба отворачиваются к окну. Мама вздыхает и отпирает наконец нашу дверь.

– Настя, вы видели? С самого утра торчат какие-то двое...

– Больно надо мне видеть!..

– Нет, но странно. Если не врут... Как это может быть, чтобы она до сих пор не вернулась? Стоят и стоят...

– Хотят, Нина Валериановна, и стоят. Ваше-то какое дело?

– Что значит – какое? Уверяют, будто бы к Анне Степановне, из двенадцатой квартиры. А на самом деле, черт их знает, что за прохиндеи!.. Всякое бывает. Сопрут что-нибудь, а потом ищи-свищи! Позвоню-ка я Дусе.

Мама звонит вниз лифтёрше тете Дусе, та говорит, что все в порядке, она знает.

– Вы у них документы хотя бы проверили? Сказать ведь всё что угодно можно.

Тетя Дуся проверила.

– Ну что ж... – вздыхает мама и вешает трубку. – Одеты, действительно, довольно прилично... На пьянчуг не похожи.

Под вечер она не выдерживает и опять выглядывает на лестницу. Те двое стоят.

– Боже мой, что же вы? Ночевать тут собрались? Вам, может, пойти не-

куда? Если вы иногородние... Так бы сразу и сказали. А почему вы ее не предупредили? Как это можно – пускаться в дорогу, не списавшись, не стоворившись? Не знаю, зайдите хотя бы посидите у нас на кухне, все лучше, чем мерзнуть на лестнице. Столько часов на ногах, с ума сойти!

– Нет, благодарим, – отвечает один.

– Зайдите, зайдите! – не отстаёт мама. – Я вам говорю: зайдите, нечего стесняться! Хоть по тарелке супу налью. Вы же целый день голодные!

Нет, эти дяденьки не хотят маминого супу. Они просят ее не беспокоиться. По-моему, они уже злятся.

– Павел, что ты об этом думаешь?

– Нинусенька, я не имею ни малейшего желания думать о чужих племянниках, – говорит папа. – По мне они могут провалиться сквозь землю!

Мама вздыхает.

Ночью арестовали Окуневскую, жену Бориса Горбатова. Лифтёрши, правда, говорят: никакая не жена она ему – так, любовница. Может, они и правы. Если б этот брак был зарегистрирован, то как бы он мог потом жениться на Архиповой? Увезли на «черном вороне». Прямо в вечернем платье. Лифтёрши видели. Они всё видят. И «черный ворон» – это вам не каждый день случается. Говорят, вернулась домой за полночь, а ее сразу из лимузина и в «черный ворон». Даже в квартиру зайти не позволили.

– Какие мерзавцы! – возмущается мама. – Нет, вы подумайте – дурили голову, будто к Анне Степановне! Она, между прочим, оказывается, и не выходила никуда, целый день дома сидела. Жалко, я не постучалась, надо было не слушать этих прохвостов и постучать!

– Иногда, мой милый Пусик, бывает не вредно послушать, что тебе говорят.

– Действительно! Но как я не догадалась? Ну да – это ж они из нашего окна следили за седьмым подъездом! Теперь-то я понимаю: как раз напротив. А Дуся, между прочим, тоже хороша – не могла сказать! Наверняка знала, в чем дело. «Всё в порядке!» Хоть бы намекнула как-то. Кстати, ты слышал, что говорят? Будто у нее завелся любовник, серб, очень высокопоставленный.

– Серб! Высокопоставленный. Ай да тетя Дуся!..

– Не тетя Дуся, а Окуневская. Не понимаю, зачем ты вечно прикидываешься идиотом! Рассказывают, будто после каждого спектакля ей вручали букет роскошных роз от югославского посольства.

– Да будет тебе известно, Нинусенька, югославского посольства не существует, поскольку оно ликвидировано, и все его сотрудники высланы, поскольку никаких отношений с мерзавцем Тито у нас быть не может. «Для бандита Тито наша карта бита!»

Непонятно, но складно. Папа любит сочинять такое.

– Не знаю, может, и ликвидировано, но зря болтать не станут – дыма без огня не бывает, – не уступает мама. – Именно с Тито и был роман. Но в то же время был роман и с Берией. Чрезвычайно, я бы сказала, легкомысленно – когда замешаны такие двое, тут уж чего угодно можно ожидать.

– Нинусенька, я бы посоветовал тебе прикусить язык. Разносишь самые дурацкие сплетни, как сорока на хвосте.

– Это не я, люди говорят.

Нет уже на этом свете ни мамы, ни отца, ни писателя Бориса Горбатова, и Берия давно расстрелян. Остались только Тито и актриса Окуневская. Но вряд ли теперь ей презентуют букеты алых роз.

Сон золотой

Нам принесли заказанные блюда: таинственные равиоли, лазанью и ещё какие-то местные деликатесы. Марианна стала вдохновенно объяснять, чем славится конкретно здешняя, конечно, весьма оригинальная кухня. Слушая её, я сообразила, что сама я, какая ни на есть, нисколько не интересую заслуженного партизана, увидит завтра – не узнает. Требуется слушатель, не более того. Поплакаться в жилетку. Герой, но что с того? И на героя есть погибель – вздорная упрямая жена.

Под предлогом, что мне нужно выйти, я высвободилась из-под его увесистой руки и удалилась. А вернувшись, уселась уже по другую сторону стола, возле Марианны, и потянулась за кувшином. Наполнила стакан.

– За нашу и вашу свободу!

Он наконец взглянул на меня с некоторым вниманием – как будто только что увидел, и спросил:

– Сбежала от меня?

– Почему сбежала? Хочу смотреть тебе в глаза.

– Ну что ж... Глаза не врут. – И неожиданно запел:

*Много песен слышал я в родной стороне;
В них про радость, про горе мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне –
Это песня рабочей артели.*

Эх, дубинушка, ухнем!

Эх, зеленая сама пойдет!

Подернем, подернем,

Да ухнем!

*Я слышал эту песнь, ее пела артель,
Поднимая бревно на стропила.
Вдруг бревно сорвалось, и умолкла артель –
Двух здоровых парней придавило.*

О Боже, вот это голос! Так вот в чём дело – Марианну связывают с ним не движение Сопротивления и не общие политические взгляды, а съёмки – дешёвые дрянные сериалы! Модные ситкомы на потребу невзыскательной публики. А я сидела рядом с таким редкостным талантом, прижималась к его тёплому боку, он обнимал меня за плечи, а я не ведала, какого форта удостоилась! Самый драгоценный дар, каким Господь может наградить человека – это голос.

– За вас, Николай! – сказала я. – И такого человека немцы держали в концлагере!

– Я для них не пел! – взревел он яко лев рыкающий.

– Вы должны петь в опере.

– Нет, не могу – дыхалки не хватает, сожрал мороз дыхалку, лёгкие застужены.

Так вот в чём дело: весь этот плач по Мартышке – Марта, что ли? – только для того, чтобы уйти, немного позабыть о подлинном несчастье, о безнадежно застуженных лёгких.

– Вы уверены, что вы не итальянец?

– Я русский, – произнёс он твёрдо. – Из сибирских краёв. – И вновь пропел:

*Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая сама пойдет!*

Да, Шалапин... Какая горькая утрата... Двух здоровых парней придавило... Придавило миллионы, и никуда от этого не деться. Страшен этот мир... Неужели он всегда был таким?

Тяжких дум избыток

– Сталин и Тито? Но ведь это две несовместимые личности, – заметила я. – Тито был главным врагом Сталина.

– Чтоб они оба в аду горели!

– Пока что, насколько нам известно, в аду горит только Сталин. Тито по-прежнему горит на работе. Встреча двух гигантов впереди.

– Вот это самое страшное! – воскликнул он. – Этот дракон сидит на пре-

столе и множит свои преступления, а моя жёнушка содействует ему.

– Ну, Николай, ну, успокойся, – вмешалась в нашу задумчивую беседу Марианна. – Ты давно не там, ты не причастен этому, она – это она, а ты – это ты.

– За это я сражался?!

– Сколько можно растревать себе душу? Вот смотри: перед тобой сидит красивая женщина... А ты... О чём ты говоришь?

– О главном! – воскликнул он и яростно сжал светлый тонкий бокал в руке.

Я испугалась – как бы такой медведь не раздавил изящное стекло.

Красивая женщина... Очень мило. Мне тридцать девять лет, и я уже привыкла считать себя никому не нужной и не интересной старушенцией. А тут – подумать только... Такие комплименты. Прекрасный тёплый день, чарующий пейзаж, в горах на горизонте трепещет серебристое море, и рядом такой мужчина: простой и честный, и герой! Давно забытое волнение, давно угасшее влечение...

Как это получается, откуда берётся? Над нами небо голубое, вокруг цветущая земля... Небо не голубое – почти такое же синее и глубокое, как в Иерусалиме.

– Мы завтра едем в Рим, – объявляет Марианна.

– Счастливого пути.

– Что значит – счастливого пути? Мы с тобою едем в Рим.

– Со мною? Я послезавтра улетаю в Израиль.

– Что за глупости? Какой Израиль? Кто тебе сказал?

– Имеется билет.

– Какая-то ошибка! Я тотчас всё исправлю. Израиль... Надо же! Ни на кого не можно положиться. – Вскочила из-за стола и направилась к зданию ресторана.

– Никакой ошибки, я должна быть дома. Сын служит в армии, приходит на субботу, мама – адъютант бойца: накормить ребёнка, перестирать бельё...

– Приходит на субботу? – изумился Николай. – Каждую субботу приходит кушать мамину стряпню?

– Ну, может быть, не каждую, но часто.

– Хорошо, однако же, живёте... Я скоро сорок лет как дома не бывал.

– А дома кто?

– Не знаю. Может, мать ещё жива. Всё может быть...

– И ты ни разу не пытался написать?

– Зачем писать? Я в мышеловку не полезу. Изменник родины, невелика заслуга. Узнают, что живой, замучают старуху.

– Ну, вряд ли так уж, – сказала я, – всё-таки уже другие времена. Хотя, конечно, ни за что нельзя ручаться. Побег из Собибора. Слышал? Собибор...

– Как не слышать? Печёрский. Слышал. Правильный мужик. Всё продумал, с оружием у них осечка вышла, не получилось, не сумели взять, но не отступили – хоть часть, но вырвалась на волю. А так бы все погибли. И главное – не покорились. Вот что важно.

Не покорились, и отчасти победили. А награда? Первым делом арестовали и отправили в штрафбат.

– Нормально, – кивает Николай, – обычный результат.

Что замечательно, в дальнейшем награждён был медалью «За боевые заслуги», но не за восстание в Собиборе, а за храбрость, проявленную в одном из боёв: был ранен осколком мины. Наизнанку вывернутый мир. Ты можешь сердце вырвать из груди, а тебя похвалят за то, что перепрыгнул через ров.

Нашлись писатели: Павел Григорьевич Антокольский и Вениамин Александрович Каверин, решили поведать людям о беспримерном героизме обречённых. Записали рассказ Печёрского и другого узника, Дова Файнберга. Очерк был включён в уже подготовленную к изданию «Чёрную книгу», составленную под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга, – «О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941-45 гг.». Но в 1947 году книга была запрещена цензурой и вёрстка уничтожена. Зачем выпячивать страдания евреев? Страдали все...

Что же твой, Светлана, сон

– Советская цензура как раз и была темой доклада нашей уважаемой Светланы, – поясняет для Николая возвратившаяся к нам весёленькая Марианна.

Мой билет она уже сумела поменять, невзирая на мои протесты.

– Я рада, что Джiovанни согласился провести этот семинар, – прибавляет она солидно.

Вряд ли Николай осведомлен о нашем убогом семинаре. Что он ей дался, этот злосчастный семинар? Неужели жизнь кинозвезд так тосклива, что требуется приукрасить её антисоветскими мотивами? А цензура? Случайно подвернувшийся повод для путешествия. Навечно, от рождения до смерти, закупоренным в своей проклятой Богом стране, нам страстно хотелось повидать большой мир, но это было абсолютно нереально и недоступно, а тут вдруг нате вам: не желаете ли в Израиль? Не желаете

ли побывать в Италии? Да пусть хоть цензура, хоть синекура, хоть искусство каламбура, неважно – понятно ведь, что всё это не более, чем зацепка. Советская цензура никогда не представляла для меня особого интереса. Я даже не могу пожаловаться, что страдала от неё, меня просто ни разу не допустили до стадии цензуры, ни одного моего произведения никогда и не собирались публиковать. Самое большее, чего я устаивалась, это коротенького ответа из редакции: «К сожалению, ваш рассказ (очерк, повесть, роман) не может быть принят к печати в нашем журнале (издательстве), но как автор вы нас заинтересовали». Да, сердобольного редактора мне изредка удавалось заинтересовать, так сказать, в частном порядке. И он осторожно в этом признавался. Но для более компетентных вершителей литературных судеб меня попросту не существовало.

Меня вообще не существовало – ни в каком качестве. Никто не станет конфисковать наши архивы – они на фиг никому не нужны. И если честно – вся наша жизнь и все наши потуги совершить хоть что-то, заслуживающее внимания, в лучшем случае на троечку с минусом.

– Цензура? – усмехаюсь я. – Отдельная глава. Деталь большого механизма подавления и одурачивания. Точнее было бы сказать, что мой доклад был посвящен преступной роли Советской власти на всех этапах нашей мучительной, унижительной, заскорузлой жизни.

– Естественно, – кивает Николай. – Всё точно.

– А в 1948 году герой Печёрский угодил в разряд «безродных космополитов», потерял работу, в течение пяти лет не мог никуда устроиться и жил на иждивении жены. Остаётся только радоваться, что не арестовали, не ликвидировали как врага народа. Хоть в этом повезло. Не стоит забывать, что в тот же период расправились с Михоэлсом, а вскоре и другими членами Еврейского Антифашистского комитета, кого-то замучили во время следствия, прочих расстреляли, но семьям сообщать не стали – успеется, узнают. Печёрского хватились, когда потребовался свидетель преступлений одиннадцати охранников лагеря Собибор. Всё же пригодился. Звёздный час.

– Свидетелем могут привезти на суд и из тюрьмы, – замечает мой собеседник.

– Всё ты знаешь...

Вздыхает.

– Давно живу на белом свете. Вот ты, девчонка, умная девчонка – понимаешь, что к чему, а моя старуха...

– Какая я девчонка? Сын служит в армии.

– Сын служит в армии, – повторяет он. – Всегда одно и то же...

Зачем-то вспоминаю:

– А Брежневу присвоили звание Маршала Советского Союза. И пашку, говорят, вручили с золотым эфесом.

– С алмазной рукояткой! Чтоб не выпускал из рук. Что ж – тыловая крыса всегда самая жирная.

Кувшин опорожнялся и снова наполнялся, мы никуда не торопились.

– Так тебя зовут Светланой? – спросил он.

– Да. Множество моих ровесниц живут под этим именем – родители считали, что оно принесёт нам счастье. Или хотя бы будет надёжным оберегом. Товарищ Сталин назвал Светланой свою любимую дочурку. Отец народов не мог вообразить, что родная дочь так подведёт и опозорит. «Калина-малина – сбежала дочка Сталина...» Небось, в гробу перевернулся.

– Из мавзолея вынесли, но гроба не лишили?

– В точности не знаю.

– А много в СССР антисоветчиков?

– Сложный вопрос. Кого считать антисоветчиком? Тех, кого преследует КГБ? Как правило, никто из этих людей не призывает к свержению режима и не занимается антисоветской агитацией.

– Чем же они занимаются?

– Призывают режим соблюдать собственные законы. Выпускают «Хронику текущих событий» – информационный бюллетень, содержащий правдивые сведения. Ни в каких противозаконных действиях не замешаны, но настаивают на соблюдении прав человека. Открыто встречаются с гостями из-за рубежа. То есть ставят режим в дурацкое положение: с одной стороны, невозможно полностью запретить контакты с иностранцами – всё-таки уже не сталинские времена, – а с другой стороны, нельзя допустить такого разгула демократии. Чтобы припугнуть особо ретивых борцов за гражданские свободы арестовали Щаранского: измена Родине и пресловутая антисоветская агитация. Слишком много себе позволял. Изменял стране, которую не считал своей родиной и мечтал покинуть. Понятно, что многие ненавидят этот строй, но помалкивают, а есть и такие, которые вполне довольны своим существованием, даже счастливы. А что? В нацистской Германии тоже многие были счастливы – до поры до времени.

– А что такое счастье?

– Счастье? Оно у каждого своё.

– Ну, у тебя, к примеру?

– У меня?

Сбежать из Большой зоны. Кто бы мог поверить? Вырваться на волю – это не просто счастье, это чудо. Жить в Иерусалиме... Читать Библию в

подлиннике на иврите... Да мало ли... В детстве тоже случались счастливые мгновения. Папа вернулся из Германии. Две куклы: Вовка и Мики. А скакать по лестнице, перелетая через шесть ступенек – чем не счастье? Встречаться на жизненном пути с хорошими людьми.

– Сидеть сейчас здесь с вами в такой чудесный день...

– Ну, если ты так говоришь...

Очередной кувшин сменяется на столе, но солнышко неотвратимо клонится к горизонту. Пора, пора вспомнить о двух страдающих в неведение опричниках, да и о юноше Саше, тоскующем в любовном ожидании.

– Приезжай ещё, сыновий интендант.

– Приеду – если Марианна пригласит.

Марианна улыбнулась, но не сказала ничего.

Он поднялся, шагнул ко мне, крепко обхватил обеими руками и прижал к груди. Поцеловал в макушку. Подумал, наклонился и поцеловал в губы. Губы у него неожиданно оказались нежные и мягкие.

– Прощай...

Прощай, мой генерал... Я запомню, как билось твоё сердце.

Вадим Фадин

ВЛАДИМИР МАКАНИН, НАШ ВЕЧНЫЙ СОВРЕМЕННИК

(Памяти писателя)

Время создаёт своего писателя, и это бесспорно и банально, но есть и писатели, создающие своё время. Говорят так: «писатель и его время», говорят о времени Шекспира или о времени Пушкина, и только о современных нельзя услышать ничего подобного, даже – о переживших вместе с нами несколько эпох, описавших их будто бы без пристрастия и в них не пропавших. Трудность не в том, что мы не видим этих писателей, а в том, что не видим их время; для этого хорошо было бы отойти в сторонку на многие годы.

Время, в котором мы живём, пока не названо, и всё же мы знаем тех, кто видел его зорче, нежели другие.

Иначе, нежели другие, видел время Владимир Маканин. Мы читали его прозу, оценивали её своим манером, а теперь стало ясно, что проживая разные эпохи – а нам повезло на смены эпох, – мы изучали их по книгам Маканина: он не просто писал с очевидной всем натуры, а подчинялся и прохладной ясности мысли, и отстранённости ото всякого предмета, и – маканинское собственное выражение – опыту чувствования. Этот опыт, видимо, определил и особый взгляд на события в нашем непростом мире; это, главным образом, отразилось в романах «Андерграунд, или Герой нашего времени» и «Асан»: по ним можно судить и о нашем бытии, и о всём творчестве Маканина.

Андерграунд и чеченская война – вот их темы, знакомые, кажется, каждому, но так, как Маканиным, не понятые.

«Андерграунд» – это, по принятому определению, художественное направление в современном искусстве, противоречащее официальной культуре, иными словами – контркультура. Но андерграунд в советской стране был (пусть это лишь другой перевод, выбор синонима из приведённого в словаре ряда) был – подпольем. Именно в подполье существовали сот-

ни тысяч (не миллионы ли?) людей либо психологически созревших для протеста, либо начавших протестовать – масса, созревшая для бунта. Но во время либерализации нашего общества в страшные 80-е и 90-е годы, когда даже и кому-то из этой массы начали выпадать какие-то блага, эти яркие люди неожиданно становились бесцветными. Андеграунд превращался в некий новый истеблишмент. Между тем андеграунд означал у нас не образ жизни, а образ мыслей, Маканин определил: «Андеграунд – под-сознание общества», и вот что сказал об этом герой романа: «Когда после горбачёвских перемен люди андеграунда повыскакивали там и тут из подполья и стали, как спохватившись, брать, хватать, обретать имена на дневном свете (и стали рабами этих имён, стали инвалидами прошлого), я остался как я».

И вот второй роман, «Асан», породивший жёсткие споры. У каждого читателя – своё мнение о чеченской войне, но каждый ждёт от книги о ней перестрелок, бомбардировок, побед и поражений. И вдруг, у Маканина, он встречает не подобие «лейтенантской прозы», жёстко и скорбно отразившей Великую отечественную, а горестно удивляется акценту романа не на жестокость, несправедливость и грубость войны в Чечне, а на её гнусность. По словам одного из критиков, «здесь больше торгуют, чем сражаются, больше подкупают, чем стреляют...».

Таковы штрихи нашей истории, предъявленные Маканиным не одним лишь потомкам, а и нам, современникам. Соучастникам. Впрочем, между его ироничных строк разные читатели найдут самые разные смыслы.

Только самого Маканина с нами уже нет. С нами остаются его книги, которые предстоит открыть для себя ещё не одному поколению.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АЛЕКСАНДР АКИМОВ

Родился в Москве, закончил Авиационный техникум.

В 64 - 67 гг. служил в Германии, недалеко от г. Зальцведеля. После армии закончил радиофак МАИ, работал в НИИ, занимался физхимией. Издал книгу «Стихи разных лет», М.:Эдитус, 2015.

ИГОРЬ АЛЬМЕЧИТОВ

Родился в 1973 году в Воронеже. Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского Государственного Университета. Публикации в различных литературных журналах – «Подъем», «Урал», «Дальний Восток», «Наша Улица», «Молоко» и др.), в литературных интернет-журналах («День Литературы», «Подлинник», «Международный Литературный Клуб» и др.), победитель европейского литературного конкурса русскоязычных авторов в Австрии в 2013г. в номинации Малая проза.

Игорь Альмечитов пишет рассказы о своих сверстниках – потерянном поколении 90-х. Во многом это рассказы очевидца – солдата срочной службы, отправленного на чеченскую войну. Другие его герои, также его одногодки, люди, с которыми он случайно сталкивался в обычной повседневной жизни, связываются с криминальным миром и ищут самореализации уже в откровенно преступной деятельности. Предлагаемые читателю рассказы составляют книгу «Без определенного места жительства». Все они написаны в жанре психологической прозы.

АЛЕКСАНДР ВИН

Родился в 1958 г., живет в Калининграде. По профессии моряк, штурман дальнего плавания. Сейчас – редактор местной газеты. В 2014 г. изданы четыре книги из серии «Современный остросюжетный роман» и книга рассказов «Зачем открываются двери», в 2015 г. – четыре электронные книги из серии «Приключения эгоиста». В 2013-16 гг. рассказы печатались в электронных и бумажных журналах: «Дальний Восток», «Наследник», «Южная звезда» (Россия), «Наброски» (Украина), «Эдита» и «Студия» (Германия), «Лексикон и Русский глобус» (США), «Млечный путь» (Израиль). Александр Вин – постоянный автор журнала «Студия». В 2017 г. он издал новую книгу – оптимистическую повесть-комедию о футболе «Шанс». Это невероятная история о том, как дворовая футбольная команда из провинциального российского городка,

волею случая выигрывает ЧМ 2018 года, выступая за маленькое тропическое государство. В настоящее время автор готовит книгу рассказов о прогулках маленького мальчика по романтическим улицам Калининграда (старого Кенигсберга).

СЕМЁН ГРИНБЕРГ

Поэт, участник знаменитого «Самиздата века», начинавший в не менее знаменитой литстудии клуба «Факел». Там можно было встретить молодых тогда Юрия Карабчиевского, Станислава Красовицкого, Валентина Хромова, Леонида Черткова, Андрея Сергеева, Генриха Сапгира, Игоря Холина и многих других талантливых поэтов. С.Гринберг широко печатается в периодике России и русскоязычных изданиях зарубежья. Живёт в Иерусалиме.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

Редактор отдела экономики газеты «Земля нижегородская». Член Союза журналистов РФ. Автор сборников стихов «Рай для бездомных собак», «Орнитология воды» и «Африкаснег», участник коллективного сборника «Настоящие» из серии «Нижегородское собрание сочинений». Публиковался в газетах, в журналах «Нева», «Дружба народов», «Слово/Word», «Гвидеон», «Бельские Просторы», «Новый свет», «Журнал Поэтов», «Зарубежные Задворки», «Европейская словесность», «Нижний Новгород» и других. Лауреат премии имени Бориса Пильника (2010 г.).

МАРК ЗАЙЧИК

Родился в 1947 году в Ленинграде, с 1973 года живет в Иерусалиме. Журналист и прозаик, печатался в журналах «Континент», «Эхо», «22», «Звезда». Автор книг «Феномен» (1985), «Сделано в СССР» (1988), «Иерусалимские рассказы» (1996).

СТЕПАН ЛЕВИН

Родился в 1945 г. в Москве. Закончил МИЭМ, работал в различных НИИ Москвы и инженером-исследователем на немецких и американских фирмах. С 1990 г. живет в Берлине.

ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

(Кныш Ольга Николаевна) родилась 13 мая 1939 года в деревне Куцевщина Великораевского сельсовета Копыльского района Бобруйской области (Белорусская ССР). Начиная с 2011 года, ее сын Алексей Мельников стал записывать ее устные рассказы о военном детстве.

ВАДИМ ФАДИН

Член союза писателей Москвы и союза писателей Германии (Verband Deutscher Schriftsteller in der IG Medien). Публиковаться начал в 1963 году.

Стихи, рассказы, эссе В. Фади́на широко печатались в периодике России и в зарубежной русскоязычной прессе. С 1996 года В. Фадин живет в Германии.

СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН

Прозаик. Её книги широко известны в России и за её рубежами. Роман «Розы и хризантемы» был включен в шортлист Букеровской премии в 2000 году. Переводит с иврита на русский язык произведения израильских писателей. Живёт в Иерусалиме.

УЛЬЯНА ШЕРЕМЕТЬЕВА

Окончила ЛСХИ им. Иогансона при Академии художеств им. И. Репина и Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова. По профессии художник, но активно пишет и стихи. Публиковаться начала в Германии, вскоре после переезда. Имеет ряд сетевых и «бумажных» публикаций. К последним принадлежит берлинский эмигрантский альманах «Четвертая волна» (2016 г.) и журнал «Студия» – №17 (2008 г.) и № 18-19 (2014 г.). Успешно принимает участие в самых разных сетевых эмигрантских литературных конкурсах. С 1993 живет и работает в Потсдаме (Германия).

АРКАДИЙ ШТЫПЕЛЬ

Известный московский поэт и переводчик поэзии. Родился в 1944 г. в Самаркандской области. Учился на физическом факультете Днепропетровского университета. Пишет стихи на русском и украинском языках. Публикуется с 1989 г. Постоянный автор поэтического журнала «Арион» и «Новый мир», участник множества коллективных поэтических сборников. Автор двух книг стихов. Среди переводов: избранные сонеты Уильяма Шекспира («Арион», 2005, №1), стихи украинского поэта Миколы Винграновского и валлийца Дилана Томаса («Новый мир», 2010, № 4). Лауреат фестиваля поэзии «Киевские лавры». С 1968 года живет в Москве.

АЛЕКСАНДР ЮДИН

Публиковался в журналах «Юность», «Полдень XX век», «Наука и жизнь», «Знание-сила», «Искатель», «Мир Искателя», «Наука и религия», «Ступени», «Тайны и загадки», «Шалтай-Болтай», «Я» (США), «Edita» (ФРГ), и др. Автор романов «Пасынки бога» («Эксмо», 2009г.) и «Золотой пингам» («Вече», 2012г., в соавторстве с С. Юдиным).



«Театральная страна» московского художника Александра Соколова.